

БОЛЬШИЕ И КНИГИ



Эмиль Золя

ПЕНА  
♦  
ДАМСКОЕ  
СЧАСТЬЕ

« И Н О С Т Р А Н К А »

Иностранная литература. Большие книги

Эмиль Золя

**Пена. Дамское Счастье**

«Азбука-Аттикус»

1882, 1883



УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

## **Золя Э.**

Пена. Дамское Счастье / Э. Золя — «Азбука-Аттикус», 1882, 1883 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24866-3

Эмиль Золя – один из столпов мировой реалистической литературы, предводитель и теоретик литературного движения натурализма, увлеченный исследователь повседневности, страстный правозащитник и публицист, повлиявший на все реалистическое направление литературы XX века и прежде всего на школу «новой журналистики»: Трумена Капоте, Тома Вулфа, Нормана Мейлера. Его самый известный труд – эпохальный двадцатитомный цикл «Ругон-Маккары», распахивающий перед читателем бесконечную панораму человеческих пороков и добродетелей в декорациях Второй империи. Это энциклопедия жизни Парижа и французской провинции на материале нескольких поколений одной семьи, родившей самые странные плоды, – головокружительная в своей детальности и масштабности эпопея, где есть все: алчность и бескорыстие, любовь к ближнему и звериная страсть, возвышенные устремления и повседневная рутина, гордость, жестокость, цинизм и насилие, взлет и падение сильных и слабых мира сего. В это иллюстрированное издание вошли седьмой и восьмой романы цикла – глубинное погружение в жизнь парижских буржуа, панорама комичная, порой трогательная, но чаще страшная. Октав Муре, прагматик и ловелас, приезжает в Париж, где восходит на вершину, соблазняя женщин и внушая доверие мужчинам. Он наследует и расширяет магазин «Дамское Счастье» – его гордость, воплощение эффективного и циничного подхода к торговле и рекламе, – но весь этот ослепительный блеск меркнет, когда Муре знакомится с Денизой Бодю, скромной продавщицей, которая против воли завоевывает его сердце... Роман «Пена» публикуется в великолепном новом переводе.

УДК 821.133.1

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-24866-3

© Золя Э., 1882, 1883

© Азбука-Аттикус, 1882, 1883

## Содержание

О порядке чтения цикла «Ругон-Маккары»	7
Пена	8
I	8
II	21
III	36
IV	51
Конец ознакомительного фрагмента.	62

# Эмиль Золя

## Пена. Дамское Счастье

ПЕНА

Перевод с французского Ирины Волевич (главы I–IX) и Марии Брусовани (главы X–XVIII)

ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ

Перевод с французского Ирины Волевич (главы I–VII) и Елены Клоковой (главы VIII–XIV)

Émile Zola

POT-BOUILLE. AU BONHEUR DES DAMES

© И. В. Волевич, перевод, 2022, 2023

© М. И. Брусовани, перевод, 2023

© Е. В. Клокова, перевод, 2022

© Г. Г. Филипповский (наследник), иллюстрации, 1963

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

\* \* \*

## О порядке чтения цикла «Ругон-Маккары»

Работа над романами цикла «Ругон-Маккары» заняла у Эмиля Золя больше двадцати лет и не происходила линейно: за вычетом хронологически первого и последнего романов, созданных, соответственно, первым и последним, порядок появления частей цикла не всегда соответствовал хронологии описываемых событий. Традиционно цикл издается в порядке написания, однако в этом и дальнейших изданиях мы предпочли руководствоваться его внутренней хронологией. Такой порядок чтения сам автор описывает в финальном романе цикла «Доктор Паскаль» и, по утверждению Эрнеста Альфреда Визетелли, английского переводчика и друга Золя (см. критическую биографию *Émile Zola, Novelist and Reformer: An Account of His Life and Work* by Ernest Alfred Vizetelly, 1904, гл. XI), неоднократно рекомендовал на словах.

Карьера Ругонов (*La Fortune des Rougon*, 1871)

Его превосходительство Эжен Ругон (*Son Excellence Eugène Rougon*, 1876)

Добыча (*La Curée*, 1871–1872)

Деньги (*L'Argent*, 1891)

Мечта (*Le Rêve*, 1888)

Покорение Плассана (*La Conquête de Plassans*, 1874)

Пена (*Pot-Bouille*, 1882)

Дамское Счастье (*Au Bonheur des Dames*, 1883)

Проступок аббата Муре (*La Faute de l'abbé Mouret*, 1875)

Страница любви (*Une page d'amour*, 1878)

Чрево Парижа (*Le Ventre de Paris*, 1873)

Радость жизни (*La Joie de vivre*, 1884)

Западня (*L'Assommoir*, 1877)

Творчество (*L'Œuvre*, 1886)

Человек-зверь (*La Bête humaine*, 1890)

Жерминаль (*Germinal*, 1885)

Нана (*Nana*, 1880)

Земля (*La Terre*, 1887)

Разгром (*La Débâcle*, 1892)

Доктор Паскаль (*Le Docteur Pascal*, 1893)

## Пена

### I

Улица Нёв-Сент-Огюстен; плотное скопление экипажей не позволяло проехать фиакру, который вез Октава и три его чемодана с Лионского вокзала. Несмотря на довольно ощутимый послеполуденный холод этого ненастного ноябрьского дня, молодой человек опустил стекло дверцы экипажа. Его удивили ранние сумерки в этом квартале с тесными улочками, забитыми густой толпой. Грубая брань кучеров, которые хлестали фыркающих лошадей, нескончаемая толкучка на тротуарах, тесная череда магазинчиков, битком набитых приказчиками и покупателями, – все это привело Октава в полную растерянность: в мечтах он представлял себе Париж куда более благодетельным и не ожидал увидеть здесь такую грубую, настырную торговлю – казалось, город отдан на растерзание алчным завоевателям.

Кучер обернулся к седоку и спросил:

– Так вам в пассаж Шуазель?

– Да нет, на улицу Шуазель... Мне кажется, там есть новый дом...

Фиакру оставалось только свернуть, и вот наконец показался новый дом, второй от угла, – высокое пятиэтажное строение; его каменная облицовка еще сохраняла природный охристый оттенок, выделяясь на фоне блеклой штукатурки соседних старых фасадов. Октав вышел из экипажа и задержался на тротуаре, машинально оглядывая здание снизу вверх, от магазина шелков на первом этаже и в полуподвале до пятого, чьи окна отделяла от карниза узкая терраса. Балкон второго этажа с затейливыми чугунными перилами поддерживали головы карнатид. Каждое окно окаймляли вычурные наличники, грубо вырезанные по шаблону, а внизу, над парадной дверью, два амурчика держали развернутый свиток с номером дома, который по ночам освещался газовым рожком.





Грузный светловолосый господин, выходявший из этого дома, остановился как вкопанный, заметив Октава.

– Как, это вы?! – воскликнул он. – А я-то вас ожидал только завтра!

– Прошу прощения, я выехал из Плассана днем раньше... – ответил молодой человек. – А что – моя комната еще не готова?

– Да готова, конечно готова! Я ее снял две недели назад и сразу же обставил, как вы и просили. Погодите-ка, я вас сейчас же устрою.

И он вернулся в дом, не слушая возражений Октава. Кучер выгрузил из экипажа три чемодана. В швейцарской стоял осанистый человек с длинным, гладко выбритым лицом дипломата, он просматривал «Монитёр». Тем не менее он сообразовал обратить внимание на багаж,

поставленный у двери, и, выйдя в вестибюль, спросил у своего жильца – «архитектора с четвертого», как он его называл:

– Господин Кампардон, это тот самый жилец?

– Именно так, Гур, это и есть Октав Муре, я снял для него комнату на пятом. Он будет там жить, а столоваться у нас... Господин Муре – друг родителей моей жены, рекомендую его вам.

Октав разглядывал вестибюль с панелями «под мрамор» и потолком, украшенным розетками. Мощный и зацементированный дворик в глубине дышал холодной чистотой богатого частного дома; в дверях конюшни сидел кучер, начищавший замшевым лоскутом упряжь. Казалось, в этот уголок никогда не проникает солнечный свет.

Тем временем Гур бдительно осматривал чемоданы Октава. Подтолкнув их ногой, он убедился, что багаж весит изрядно, и предложил вызвать носильщика, чтобы тот занес чемоданы наверх по черной лестнице.

– Мадам Гур, я выйду ненадолго, – крикнул он, обернувшись к ложе консьержа.

Она представляла собой небольшую комнату с чисто вымытыми окнами, красным цветастым ковром на полу и палисандровой мебелью; в глубине, через полуоткрытую дверь, был виден уголок спальни с кроватью под бордовым репсовым покрывалом. Госпожа Гур, тучная дама в чепце с желтыми лентами, полулежала в кресле, празднично сложив руки на животе.

– Ну что ж, пошли наверх, – сказал архитектор.

Он отворил дверь красного дерева, ведущую из вестибюля к квартирам, и, заметив, какое впечатление произвели на Октава небесно-голубые домашние туфли и черная бархатная ермолка господина Гура, добавил:

– Знаете, он был лакеем у герцога де Вожелада.

– Вот как! – отозвался Октав.

– Да-да, и вдобавок женат на вдове какого-то мелкого чиновника из Мор-ля-Виль. У них там даже свой домик имеется. Но они решили сперва накопить достаточную сумму, чтобы иметь три тысячи франков годового дохода, и тогда уж обустроиться там. А пока... это вполне приличные консьержи!

Вестибюль и лестница отличались крикливой роскошью. Внизу стояла женская фигура в наряде неаполитанки, сплюсн позолоченная, с амфорой на голове, откуда торчали три газовых рожка с матовыми абажурами. Стены были облицованы панелями из искусственного мрамора, белыми с розовой окантовкой; эта отделка повторялась на всем протяжении круглой лестничной клетки с перилами красного дерева и литыми стойками «под старинное серебро», украшенными позолоченными листьями. Красная ковровая дорожка, прижатая к ступеням медными прутьями, стелилась по всей лестнице, снизу доверху. Но больше всего Октава удивила поистине оранжерейная жара: едва он вошел сюда, как в лицо ему повеяло теплым воздухом из калорифера.

– Ну надо же! – воскликнул он. – Неужто здесь отапливают даже лестничную клетку?

– Разумеется, – ответил Кампардон. – Нынче все уважающие себя домовладельцы идут на такой расход... Этот дом превосходен, поистине превосходен...

И он вертел головой, пристально оглядывая стены со знанием дела, как опытный архитектор, и приговаривая:

– Вам будет здесь хорошо, дорогой мой, этот дом поистине великолепен... А главное, люди здесь вполне благопристойные!

И он начал перечислять жильцов, грузно поднимаясь по ступеням. На каждом этаже было две квартиры, одна окнами на улицу, другая – во двор; их двери из полированного красного дерева располагались справа и слева на лестничной площадке. Первым Кампардон назвал Огюста Вабра, старшего сына домовладельца. Этой весной тот открыл на первом этаже магазин шелковых тканей, заняв также и полуподвальное помещение.

Далее, на втором этаже, в квартире окнами во двор, проживал второй сын хозяина Теофиль Вабр с супругой, а в квартире окнами на улицу – сам домовладелец, бывший нотариус из Версаля, который, впрочем, расположился у своего зятя Дюверье, советника судебной палаты.

– А ведь этому молодцу всего лишь сорок пять лет! – воскликнул, остановившись, Кампардон. – Ну-с, как вам нравится?! Прекрасно, не правда ли?

Он поднялся еще на две ступеньки и, неожиданно обернувшись, объявил:

– Вода и газ во всех квартирах!

На лестничных площадках высокие окна в рамах с греческим орнаментом пропускали внутрь дневной свет; на каждой стояла узкая скамья с бархатной обивкой. Архитектор не замедлил разъяснить, что это сделано для пожилых людей, – таким образом, они могут передохнуть. Как ни странно, на площадке третьего этажа он прошел мимо дверей молча, не назвав жильцов.

– А здесь кто живет? – спросил Октав, указав на эти двери, ведущие в большую квартиру, занимавшую весь этаж.

– О, тут живут люди, которых никто не видел и не знает... Наш дом прекрасно обшелся бы без таких. Но что делать: даже на солнце есть пятна! – И Кампардон презрительно хмыкнул. – Кажется, этот господин пишет книги.

Однако на четвертом этаже к нему вернулось прежнее благодушие. Квартира окнами во двор была разделена на две половины; в одной жила мадам Жюзер («молодая женщина, очень несчастная»), в другой – некий весьма изысканный господин; он снимал комнату, куда приходил раз в неделю, для каких-то таинственных занятий. Продолжая свои объяснения, Кампардон отпер дверь квартиры напротив.

– Ну-с, а вот и моя обитель! – объявил он. – Пойдите-ка минутку, я зайду за вашим ключом... Мы сперва поднимемся в вашу комнату, а потом я познакомлю вас с супругой.

На несколько минут Октав, уже завороченный торжественным безмолвием лестницы, остался один. Он прислонился к перилам и почувствовал, как его окутывает теплый воздух, поднимавшийся снизу, из вестибюля; подняв голову, он пытался уловить хоть какие-нибудь звуки, однако наверху царила тишина – строгая тишина надежно изолированного салона, куда не проникал никакой шум извне. Казалось, за красивыми полированными дверями красного дерева таятся бездны благопристойности.

– У вас будут прекрасные соседи! – объявил Кампардон, появившийся с ключом в руке. – Во-первых, семейство Жоссеран: отец – кассир на фабрике хрустальных изделий Сен-Жозеф, у него две дочери на выданье; во-вторых, супруги Пишон, рядом с вами; глава семейства – мелкий служащий; это люди скромного достатка, но прекрасно воспитанные... Что поделаешь: приходится сдавать все до последней каморки, даже в таком доме, как этот.

После четвертого этажа красный ковер исчез, его сменила серая полотняная дорожка, и Октав почувствовал легкий укол самолюбия. До этого вид роскошной лестницы внушал ему гордость: он был глубоко польщен возможностью жить в таком благопристойном – по выражению архитектора – доме. Проходя за ним по коридору, ведущему к его комнате, Октав заглянул в приоткрытую дверь и увидел молодую женщину, стоявшую у колыбели. Услышав шаги, она встрепенулась. Это была блондинка со светлыми, пустыми глазами; он успел отметить только ее пристальный взгляд, так как женщина, внезапно покраснев, захлопнула дверь с видом человека, застигнутого врасплох.

Кампардон обернулся и повторил:

– Вода и газ на всех этажах!

Вслед за чем указал на дверь, расположенную рядом с черной лестницей, ведущей наверх, в комнатки прислуги. Остановившись перед этой последней дверью, он объявил:

– Ну вот и добрались!

Комната – квадратная, довольно просторная, с серыми в голубой цветочек обоями – была обставлена очень просто. Рядом с альковым выгородили уголок с раковиной, где можно было только помыть руки. Октав сразу направился к окну, откуда в комнату проникал зеленоватый свет. Внизу он увидел дворик – унылый, но чистенький, замощенный ровной плиткой, с водоразборной колонкой, чей медный кран ярко блестел на солнце. Но и там не было ни души, не раздавалось ни звука: одни только окна, одинаковые как на подбор, без птичьих клеток, без цветочных горшков, все укрытые за белыми занавесками. Чтобы хоть как-то украсить высокую глухую стену соседнего здания, замыкавшую двор слева, на ней намалевали фальшивые окна с опущенными жалюзи – чудилось, что за ними протекает та же потаенная жизнь, что и в квартирах этого дома.

– О, я прекрасно здесь заживу! – воскликнул очарованный Октав.

– Не правда ли? – подхватил Кампардон. – Клянусь Богом, я тут все устроил как для самого себя, в точности следуя инструкциям, которые вы мне давали в письмах... Стало быть, обстановка вам нравится? Тут есть все нужное поначалу для молодого человека. А дальше уж сами решите.

И поскольку Октав горячо благодарил Кампардона, пожимая ему руку и извиняясь за причиненные хлопоты, тот заговорил, уже чуть строже:

– Только учтите, мой милый, никакого шума, а главное, никаких женщин!.. Уж поверьте мне, если вы приведете сюда женщину, это будет настоящий скандал!

– О, будьте спокойны! – прошептал молодой человек, слегка смутившись.

– Нет, позвольте, я хочу вам объяснить: этим вы в первую очередь скомпрометируете меня... Вы видели дом – здесь живут солидные, приличные люди; между нами говоря, даже иногда чересчур щепетильные. Ни одного лишнего слова, никакого шума – ничего такого... А иначе Гур пожалуется господину Вабру – хороши же тогда будем мы оба! Итак, дорогой мой, настоятельно прошу вас, ради моего спокойствия, уважать обычаи этого дома.

Октав, проникшийся почтением к такому благонравию, горячо обещал подчиняться этим требованиям. А Кампардон, опасливо оглядевшись и понизив голос, словно его кто-то мог подслушать, добавил с хитрым огоньком в глазах:

– Вне дома – все, что угодно, там это никого не касается! Поняли? Париж достаточно велик, в нем всему есть место... Я-то сам в глубине души художник и плевать хотел на условности!

Тем временем на лестнице показался носильщик, тащивший чемоданы. Когда их водворили в комнату, архитектор с отеческой заботой подождал, пока Октав сполоснет лицо и руки, а затем, встав, объявил:

– Ну-с, теперь давайте спустимся, я вас представлю моей жене.

На четвертом этаже горничная, худенькая, чернявая кокетливая девица, объявила, что хозяйка занята. Кампардон, желавший, чтобы его молодой друг поскорее освоился здесь, и добавок воодушевленный собственными объяснениями, заставил Октава осмотреть всю квартиру: во-первых, просторную бело-золотистую гостиную с обилием лепных украшений, а затем маленький салон с зелеными стенами, который служил ему рабочим кабинетом; в спальню их не допустили, но хозяин описал ее как узкую комнату с лиловыми обоями. Затем он провел гостя в столовую, отделанную панелями под дуб с чрезмерным обилием резьбы и кессонным потолком. Восхищенный Октав вскричал:

– Боже, какая роскошь!

Правда, через кессоны на потолке проходили две широкие трещины, а в углу облупилась краска, обнажив гипсовую основу.

– Выглядит эффектно, вы правы! – медленно сказал архитектор, подняв глаза к потолку. – Понимаете ли, этот дом с тем и строился, чтобы производить впечатление... Вот только не стоит слишком внимательно приглядываться к стенам: со дня постройки не прошло и две-

надцати лет, а все уже осыпается... Зато фасад облицован благородным камнем и украшен скульптурами, лестничные перила покрыты тройным слоем лака, лепнина в квартирах раскрашена и позолочена, и все это льстит жильцам, внушает им почтение. О, этот дом простоит долго, он еще и нас переживет!

И он снова провел гостя через переднюю, куда свет проникал сквозь матовые стекла. Слева находилась вторая спальня, окнами во двор, отведенная его дочери Анжель; от белой комнатки в этот ноябрьский полдень веяло какой-то кладбищенской печалью. Дальше, в конце коридора, находилась кухня, которую хозяин также непременно желал показать гостю, объявив, что тот должен все здесь увидеть.

– Входите, входите же! – твердил он, отворяя дверь в кухню.

Но едва они вошли, как на них обрушился адский шум. Окно, несмотря на холод, было распахнуто. Чернявая горничная и кухарка – грузная старуха, – облокотившись на подоконник, смотрели вниз, в узкий внутренний дворик, куда выходили кухонные окна всех квартир. Они перекрикивали друг дружку, а снизу, со двора, им отвечали грубые голоса, перемежавшие слова наглым хохотом и бранью. Казалось, все сточные канавы города извергли сюда скопившуюся грязь; прислуга, выглянувшая из всех квартир, тешилась этой сварой. Октаву вспомнилось величавое спокойствие парадной лестницы.

Но тут обе служанки инстинктивно обернулись и в изумлении застыли при виде хозяина и незнакомого господина. Раздался легкий свист, окна мгновенно захлопнулись, и воцарилась мертвая тишина.

– Что тут случилось, Лиза? – спросил Кампардон.

– Опять эта неряха Адель... – ответила горничная, еще не остывшая от перебранки. – Она вывалила во двор кроличью требуху прямо из окна... Вы бы пожаловались господину Жоссерану.

Но Кампардон нахмурился и промолчал: ему не хотелось впутываться в эти дразги. И он снова повел Октава в свой кабинет, говоря по пути:

– Ну вот, теперь вы все увидали. Планировка квартир на каждом этаже одинакова. Я плачу за свою две тысячи пятьсот франков в год, хотя она на четвертом этаже! Квартирная плата растет как на дрожжах... Господин Вабр ежегодно выручает со своего дома примерно двадцать две тысячи франков. И это еще не предел – сейчас собираются проложить широкую улицу от Биржевой площади до Новой Оперы... А ведь участок под этот дом он приобрел за сущие гроши двенадцать лет назад, после большого пожара – он случился по вине служанки аптекаря!

Они вошли в кабинет, и Октаву тотчас бросился в глаза образ Девы Марии в роскошной раме, висевший над рабочим столом и озаренный ярким светом, лившимся из окна; в ее разверстой груди пылало огромное сердце. Он не смог сдержать удивления и оглянулся на Кампардона, которого знали в Плассане как насмешника и вольнодумца.

– О, я забыл вам сообщить, – сказал тот, слегка покраснев. – Меня ведь назначили епархиальным архитектором в Эврё. Жалованье, конечно, мизерное – каких-нибудь две тысячи франков годовых. Но и делать там особенно нечего, разве что изредка наведываться, а в остальное время за порядком присматривает мой инспектор. Главное, эта должность считается почетной – как-никак, «архитектор на государственной службе»; такое звание на визитных карточках производит впечатление. Вы даже не представляете, сколько заказов в высшем обществе мне приносит эта должность.

Говоря это, архитектор не сводил глаз с изображения Девы Марии и ее пылающего сердца.

– Честно говоря, – сознался он в приступе откровенности, – мне плевать на все эти сказки.

Октав рассмеялся, что встревожило Кампардона: с какой стати он откровенничает с этим юнцом? Покосившись на него, он состроил пристыженную мину и начал неуклюже оправдываться:

– Ну да, мне на все это плевать... хотя, с другой стороны... Ладно, признаюсь как на духу: я готов пойти на это! Да вы и сами скоро убедитесь, мой друг, – вот поживете здесь немного и заговорите точно так же.

И он заговорил о том, что ему уже сорок два, о пустом, бессмысленном существовании, изобразил меланхолию, так явно противоречившую его внушительной комплекции. Образ свободного художника с разметающейся шевелюрой и бородкой а-ля Генрих IV, который он стремился создать, никак не сочетался с низким лбом и квадратной челюстью ограниченного буржуа с его неутолимыми плотскими желаниями. В молодые годы он отличался несокрушимым жизнелюбием.

Взгляд Октава упал на номер «Газетт де Франс», валявшийся среди чертежей. И тут сконфуженный Кампардон позвонил горничной, чтобы узнать, освободилась ли наконец его супруга.

– Да, доктор уже уходит, мадам сейчас выйдет, – ответила та.

– А что, разве госпожа Кампардон хворает? – спросил молодой человек.

– Да нет же, все как обычно, – досадливо ответил архитектор.

– Но... тогда что же с ней?

Смущенный супруг уклончиво ответил:

– О, вы же знаете женщин, у них вечно что-нибудь да не ладится... У нее это тянется уже тринадцать лет, с самых родов... Но в остальном здоровье у нее крепкое. Вы даже сочтете, что она располнела.

Октав не стал выяснять подробности. В этот момент горничная вернулась в комнату и вручила хозяину чью-то визитную карточку; архитектор извинился и торопливо ушел в кабинет, попросив молодого человека побеседовать пока с его супругой, чтобы не скучать. Гость успел заметить в открытой и проворно захлопнутой двери, в центре бело-золотой гостиной черное пятно – сутану.

Но в этот момент к нему через переднюю вышла госпожа Кампардон. Октав с трудом узнал ее. Некогда, еще ребенком, он познакомился с ней в Плассане, в доме ее отца, господина Домерга, смотрителя дорог и мостов; в те времена это была тщедушная, невзрачная девица, в свои двадцать лет похожая скорее на незрелого подростка, со всеми приметами этого неблагоприятного возраста; сейчас перед ним стояла пухлая, волоокая особа со светлым, невозмутимым лицом монашки и ямочками на щеках, всем своим видом напоминавшая сытую кошечку. Ее, конечно, нельзя было назвать красавицей, однако она совершенно расцвела к тридцати годам и теперь источала сладкий аромат и свежесть сочного осеннего фрукта. Он отметил только, что она ходит с трудом, переваливаясь с ноги на ногу; на ней был длинный шелковый пеньюар цвета резеды, придававший ее облику еще большую томность.

– Да вы превратились в настоящего мужчину! – весело воскликнула она, протянув к нему руки. – Как же вы возмужали с тех пор, как мы в последний раз виделись в Плассане!

Она с удовольствием разглядывала рослого, красивого шатена с холеными усами и бородкой. Когда он назвал свой возраст – двадцать два года, – она снова воскликнула, что ему можно дать все двадцать пять!

А сам Октав, которого присутствие любой женщины, вплоть до последней служанки, приводило в восхищение, смеялся переливчатым смехом, лаская ее глазами цвета старого золота, мягкими, как бархат.

– Ну да, – томно отвечал он, – я вырос, я и впрямь вырос... А помните, как ваша кузина Гаспарина покупала мне шарики?



Затем он сообщил ей новости о ее родителях. Господин и госпожа Домерг счастливо живут в домике, где поселились на старости лет; единственное, что их печалит – это одиночество; они никак не могут простить Кампардону, что он, приехав в Плассан для каких-то работ, похитил их любимую Розу. Но молодой человек постарался перевести разговор на ее кузину Гаспарину; его по-прежнему снедало жгучее любопытство преждевременно созревшего подростка, вызванное историей, которую в те давние времена никто ему не разъяснил: внезапная страсть архитектора к Гаспарине – стройной красавице (увы, бедной), и неожиданный брак с худышкой Розой, за которой давали тридцать тысяч франков приданого; а дальше – бурная сцена со слезами, разрыв с семьей и бегство покинутой девушки в Париж, к тетке-портнихе. Однако госпожа Кампардон, чье безмятежное лицо сохранило свой бледный румянец, сделала вид, будто не понимает его. Октав так и не добился от нее никаких разъяснений.

– Ну а что ваши родители? – спросила она в свою очередь. – Как они поживают?

– Благодарю вас, прекрасно, – ответил он. – Матушка посвящает все свое время саду. Если бы вы увидели дом на улице Банн, то нашли бы его точно таким, каким он был при вас.

Госпожа Кампардон, которой, вероятно, трудно было долго стоять, присела на высокий чертежный стул, вытянув ноги под длинным пеньюаром; Муре придвинул поближе к ней низкое сиденье и теперь разговаривал, глядя на нее снизу вверх, с привычным для него видом почтительного восхищения. Этот молодой широкоплечий человек был наделен женской душой: он прекрасно понимал женщин и этим тотчас завоевывал их сердца. Не прошло и десяти минут, как они уже болтали, точно старые друзья.

– И вот теперь, как видите, я ваш пансионер, – говорил он, поглаживая бородку красивой рукой с тщательно отполированными ногтями. – Мы вполне уживемся, уверяю вас... Вы были так любезны, что вспомнили о мальчишке из Плассана и по первой просьбе занялись моим устройством!

На что она возразила:

– О нет, не благодарите меня. Я слишком ленива, почти не двигаюсь. Это все устроил Ашиль... Впрочем, как только моя мать сообщила нам, что вы хотели бы столоваться в семейной обстановке, мы сразу же решили открыть вам двери нашего дома. Таким образом, вам не придется иметь дело с чужими людьми, а нам будет приятно ваше общество.

И тут Октав рассказал ей о своих делах. Получив диплом бакалавра – лишь ради того, чтобы утешить родителей, – он провел три года в Марселе, в большой фирме, занимавшейся торговлей набивным ситцем, который производила фабрика, расположенная в окрестностях Плассана. Торговля стала его страстью – причем именно торговля предметами роскоши для женщин, основанная на соблазне, на постепенном завоевании женских сердец с помощью медовых речей и томных взглядов. И он рассказал, сопровождая свои слова победным смехом, как ухитрился, с чисто иудейской осторожностью, скрытой под внешним любезным простодушием, заработать пять тысяч франков, без которых ему никогда не пришло бы в голову рискнуть и приехать в Париж.

– Вы только представьте себе, у них был ситец с рисунком в стиле помпадур, настоящее чудо!.. Но никто и смотреть на него не хотел, так он и лежал там в подвале целых два года... А я в ту пору занимался продажами в департаментах Вар и Нижние Альпы и подумал: а не закупить ли его по дешевке, чтобы сбыть как свой собственный товар. Так вот, представьте себе, это был успех, сумасшедший успех! Женщины буквально рвали его из рук целыми рулонами; сейчас, я думаю, там нет ни одной, которая не носила бы платья из этого ситца... Должен признаться, я тогда здорово нажил на этих дамах! Все они принадлежали мне, я мог делать с ними что угодно.

И он смеялся от души, а госпожа Кампардон, уже покоренная, уже взволнованная мыслью об этом ситце «помпадур», жадно его расспрашивала. Что это за рисунок – маленькие

цветочные букетики на кремовом фоне, не правда ли? А ведь она именно такую и разыскивает повсюду для летнего пенюара!

– И вот так я разъезжал по стране целых два года, – продолжал Октав. – А теперь решил покорить Париж... И незамедлительно начну искать что-нибудь подходящее.

– Как, разве Ашиль вам еще не сказал? – ахнула мадам Кампардон. – Но он уже нашел вам место, в двух шагах от дома!

Октав пылко благодарил ее, дивясь своему везению и шутливо вопрошая, не найдет ли он у себя в комнате уже к вечеру жену и сто тысяч франков ренты. Но тут дверь отворилась, и в гостиную вошла девочка лет четырнадцати, долговязая и неказистая, с тусклыми светлыми волосами; увидев гостя, она испуганно вскрикнула.

– Входи, не бойся, – сказала госпожа Кампардон. – Это господин Октав Муре, ты ведь слышала, как мы с папой говорили о нем. – И, обернувшись к гостю, добавила: – Познакомьтесь, это моя дочь Анжель... Мы не брали ее с собой в нашу последнюю поездку – у нее такое хрупкое здоровье! Но вот теперь она понемногу выправляется.

Анжель с мрачной миной, свойственной подросткам в неблагоприятном возрасте, уселась позади матери, украдкой поглядывая оттуда на улыбчивого молодого человека. Вскоре вернулся и Кампардон, весьма оживленный, и, не удержавшись, коротко поведал жене о своей удаче: аббат Модюи, викарий церкви Святого Роха, предложил ему работу – на первый взгляд простой ремонт, но который может вылиться и в нечто большее. Впрочем, он тут же запнулся, вспомнив, что говорит в присутствии Октава, хлопнул в ладоши и объявил:

– Итак, чем мы займемся?

– Вы ведь, кажется, собирались уходить, – заметил Октав, – я не хотел бы вам мешать.

– Ашиль, – шепнула госпожа Кампардон, – что с этим местом у Эдуэнов?

– Ну конечно же! – вскричал архитектор. – Дорогой мой, это место старшего приказчика в магазине модных товаров. Я там знаю одного человека, и он замолвил за вас словечко... Так что вас там ждут. Сейчас еще нет и четырех часов – хотите, я вас тотчас представлю?

Октав колебался: его беспокоило, прилично ли он одет, правильно ли завязан галстук. Но госпожа Кампардон заверила его, что все в порядке, и он решился. А она томно подняла голову, подставив лоб мужу, который с наигранной нежностью поцеловал ее со словами:

– Прощай, кошечка моя... до свиданья, милочка...

– Не забудьте: мы ужинаем в семь, – сказала она, пока мужчины искали шляпы в передней.

Анжель неохотно вышла проводить их. Однако ее ждал учитель музыки, и через минуту они слышали, как она забарабанила худыми пальцами по клавишам, заглушая голос Октава, который задержался на минуту, рассыпаясь в благодарностях перед хозяйкой. Пока он спускался по лестнице, звуки пианино словно преследовали его в этом теплом безмолвии; им вторили, на всех этажах, другие фортепианные мелодии, приглушенные и благообразные, доносившиеся из-за массивных дверей квартир госпожи Жюзер, Вабров, Дюверье.

Выйдя из дому, Кампардон повернул на улицу Нёв-Сент-Огюстен. Он шел молча, с задумчивым видом человека, подыскивающего предлог для новой темы разговора.

– Вы помните мадемуазель Гаспарину? – спросил он наконец. – Нынче она заведует отделом в магазине Эдуэнов... Сейчас вы ее увидите.

Октав ухватился за этот вопрос, чтобы удовлетворить свое любопытство.

– Ах вот как! – воскликнул он. – Уж не живет ли и она в вашем доме?

– Нет-нет, как можно! – воскликнул архитектор, явно шокированный этим вопросом. Однако, увидев, что резкий отпор удивил молодого человека, он смущенно добавил чуть мягче: – Видите ли, они с моей женой больше не встречаются... Такое часто бывает в семьях... Я-то с ней виделся и решил, что нужно ее поддержать, тем более что бедняжка отнюдь

не богата. В общем, теперь они узнают друг о дружке лишь через меня... Эти старые семейные распри... видите ли, требуется время, чтобы затянулись раны.

Октав решил было порасспросить архитектора о его женитьбе, но тот перебил его на полуслове, объявив:

– Ну вот мы и пришли!

Магазин модных товаров располагался на углу улиц Нёв-Сент-Огюстен и Мишодьер; двери его выходили на узкую треугольную площадь Гайон. Большие золотые буквы на вывеске, скрывавшей два окна бельэтажа, гласили «*„Дамское Счастье“ основано в 1822*»; на стеклах витрин – прозрачных, без амальгамы, – можно было прочесть выписанное красным официальное название – «Делёз, Эдуэн и К°».

– Предприятие, конечно, не шик-модерн, но зато честное и основательное, – торопливо разъяснял Кампардон. – Господин Эдуэн, бывший приказчик, женился на дочери Делёза-старшего, который умер два года назад; таким образом, магазином управляют нынче молодые супруги, старый дядюшка Делёз и еще один компаньон, но мне кажется, что двое последних участвуют в деле чисто номинально... Вы сейчас увидите госпожу Эдуэн. О, это женщина с головой!.. Ну-с, войдемте.

Оказалось, что сам Эдуэн уехал в Лилль закупать холст. Их приняла его супруга. Она стояла в зале, с пером за ухом, отдавая распоряжения двум приказчикам, которые выкладывали на полки рулоны тканей. Госпожа Эдуэн, с правильными чертами лица и гладкими полукружьями волос, обрамлявшими лоб, со скупой улыбкой, в черном платье, на котором ярко выделялись простой белый воротничок и коротенький мужской галстук, показала Октаву такой высокой, такой величественно-красивой, что он, отнюдь не робкий от природы, тут даже забормотал что-то несвязное. Дело, однако, уладили в считанные минуты.

– Ну что ж, – спокойно сказала она, с привычной любезностью продавщицы, – раз вы теперь свободны, можете осмотреть магазин.

Она вызвала рассыльного и поручила ему Октава, потом вежливо ответила на вопрос Кампардона, что мадемуазель Гаспарина ушла по делам, и, отвернувшись, снова занялась делом, раздавая приказчикам короткие указания, мягко, но лаконично:

– Нет, не туда, Александр... Шелка сложите наверху... Это уже другой артикул, будьте внимательнее!

Кампардон, колебавшись, сказал наконец Октаву, что зайдет за ним позже, ближе к ужину. Таким образом, молодой человек целых два часа самостоятельно осматривал магазин. Он счел, что помещение скверно освещено и загромождено тюками и рулонами тканей, которые, не уместившись в подвалах, скапливались в углах торгового зала, мешая свободному проходу. Несколько раз он сталкивался с госпожой Эдуэн, по-прежнему занятой делами и ухитрявшейся так ловко пробираться между грудями товаров, что ни разу не задела их подолом платья. Казалось, это живая и властная душа предприятия, чей персонал беспрекословно подчинялся любому мановению ее белоснежных рук. Октава покорило то, что она больше ни разу не взглянула на него. Без четверти семь, когда он в последний раз поднялся из подвала, ему сказали, что Кампардон ждет его на втором этаже вместе с мадемуазель Гаспариной.

Там находился отдел белья, которым она заведовала. Молодой человек, поднимавшийся по лестнице, вдруг застыл как вкопанный на повороте, за штабелем аккуратно сложенных стопок коленкора: он услышал, что архитектор обращается к Гаспарине на «ты».

– Да я тебе клянусь, что это не так! – вскричал тот, забыв понизить голос.

Наступило короткое молчание.

– Как она себя чувствует? – спросила девушка.

– О господи, да у нее вечно одно и то же. То лучше, то хуже... Она прекрасно знает, что теперь у нас с ней все кончено. И уже не повторится.

Гаспарина прошептала с болью в голосе:

– Мой бедный друг, это тебя можно пожалеть... Ну что ж, раз уж ты сумел устроиться иначе... Передай ей, что я сочувствую; жаль, что она все еще хворает...

Но Кампардон, не дав девушке договорить, схватил ее за плечи и начал страстно целовать в губы, под газовым рожком, в теплом воздухе, особенно душном в этом низком помещении. Девушка в свою очередь поцеловала его, шепнув:

– Если сможешь, приходи завтра в шесть часов... Я буду ждать в постели. Постучи три раза.

Изумленный Октав только теперь начал понимать, что происходит; он кашлянул и вышел из своего укрытия. И тут его ждал другой сюрприз: Гаспарина высохла, стала какой-то угловатой, с жесткими волосами и землистым цветом лица, на котором выдавался вперед костлявый подбородок; от бывшей красоты остались одни лишь огромные, прекрасные глаза. Ее упрямый лоб и волевая складка чувственного рта ошеломили его так же сильно, как Роза, томная блондинка, очаровала своим поздним расцветом.

Гаспарина поздоровалась с молодым человеком учтиво, но без особой радости. Она вспомнила Плассан, заговорила об их прежней жизни. А на прощанье, когда они с Кампардоном спустились к выходу, пожала обоим руки. Стоявшая внизу госпожа Эдуэн коротко сказала Октаву:

– До завтра, сударь.

Выйдя на улицу, Октав, оглушенный грохотом фиакров и толчеей, все-таки не удержался и сказал, что хозяйка магазина очень хороша собой, но держится не слишком любезно. Яркие, освещенные газовыми рожками свежеукрашенные витрины магазина отбрасывали светлые квадратные блики на мостовую, тогда как старые лавки с их темными помещениями и чадающими лампами, тусклыми, словно далекие звезды, казались мрачными провалами в череде домов. Проходя мимо одной из таких лавок на Нёв-Сент-Огюстен, недалеко от поворота на улицу Шуазель, архитектор поклонился.

На пороге стояла молодая женщина, стройная и элегантная, в шелковом мантио; она удерживала за руку мальчугана лет трех, чтобы он не угодил под колеса экипажа, и болтала с пожилой простоволосой женщиной, без сомнения хозяйкой лавки, к которой обращалась на «ты». Октав не мог различить ее черты в этой полутьме, под пляшущими отсветами газовых рожков; она показалась ему хорошенькой, но он увидел только пару пламенных глаз, которые на миг обожгли его.

Лавка за ее спиной зияла, как темный сырой погреб; оттуда исходил смутный запах плесени.

– Это мадам Валери, жена Теофиля Вабра, младшего сына домовладельца, – я вам говорил, они живут у нас на втором этаже, – сообщил Кампардон, когда они прошли мимо. – Очаровательная женщина!.. Она и родилась в этой галантерейной лавке, одной из самых прибыльных в нашем квартале; ее родители – супруги Луэт – до сих пор торгуют там, лишь бы не сидеть без дела. И отнюдь не бедствуют, уж можете мне поверить!

Но Октав не одобрял такого вида коммерции в темных закутках старого Парижа, где вывеской издавна служил рулон какой-нибудь ткани. И он твердо решил, что ни за какие блага не станет ютиться в затхлой дыре, где легче легкого нажать ревматизм.

Так, за разговором, они поднялись по лестнице. Их уже ждали. Госпожа Кампардон принарядилась: надела серое шелковое платье, сделала кокетливую прическу и теперь выглядела изящной, холеной дамой. Кампардон поцеловал ее в шею, нежно, как любящий муж, приговаривая:

– Добрый вечер, кошечка моя... добрый вечер, душенька...

Все направились в столовую. Ужин прошел чудесно. Госпожа Кампардон сначала рассказала Октаву о Делёзах и Эдуэнах: к этим семействам относился с уважением весь квартал, здесь их прекрасно знали, – один из кузенов держал лавку канцелярских товаров на улице Гайон,

дядюшка торговал зонтами в пассаже Шуазель, племянники и племянницы устроились тут же, неподалеку. Потом разговор зашел об Анжель, застывшей в деревянной позе на своем стуле; девочка ела, неуклюже орудуя ложкой. Госпожа Кампардон сказала Октаву, что воспитывает ее дома, считая, что так надежнее; не желая распространяться на эту тему при дочери, она лишь многозначительно шурилась, давая понять, что в «этих пансионах» воспитанницы узнают много всяких гадостей. Тем временем ее дочь коварно подложила нож под свою тарелку, и Лиза, которая подавала на стол, чуть не разбила ее, воскликнув:

– Это все ваши проделки, барышня!

Анжель с трудом сдерживала приступ хохота. Госпожа Кампардон только укоризненно покачала головой и, когда служанка вышла из столовой, чтобы принести десерт, начала расхваливать ее: такая умница, такая работящая, истинная парижанка, так ловко со всем справляется. Они вполне могли бы обойтись без кухарки Виктории, дряхлеющей и теперь уже не очень-то чистоплотной, но она служила в доме еще в те времена, когда родился хозяин, и ее оставили здесь из уважения к старости. В этот момент вошла Лиза с блюдом печеных яблок, и Роза продолжала говорить, но уже на ухо Октаву:

– Эта девушка ведет себя безупречно. Мне пока не в чем ее упрекнуть... Она берет выходной только раз в месяц, чтобы навестить старую тетюшку, которая живет очень далеко отсюда.

Октав пригляделся к Лизе. И заподозрил, что эта девица – нервная, порывистая, плоскогрудая, с опухшими веками, – уж верно, недурно развлекается у своей престарелой тетки. Но при этом он одобрительно кивал хозяйке дома, которая продолжала делиться с ним мыслями о воспитании дочери: оно накладывает на нее такую тяжкую ответственность, дочь следует ограждать буквально от всего, а главное, от вредного влияния улицы. Тем временем Анжель всякий раз, как Лиза наклонялась к ней, чтобы сменить тарелку, щипала ее за ляжки с жестоким наслаждением подростка, хотя и у той, и у другой было при этом непроницаемое лицо, разве только обе моргали чаще обычного.

– Человек должен быть добродетельным ради себя самого, – назидательно объявил архитектор, словно делал вывод из собственных невысказанных мыслей. – Лично мне плевать на посторонние мнения, я вольный художник!

После ужина все засиделись в гостиной до полуночи. Это было из ряда вон выходящее нарушение обычного распорядка, в честь приезда Октава. Мадам Кампардон выглядела очень утомленной и время от времени задремывала, откидываясь на спинку дивана.

– Тебе нездоровится, моя кошечка? – заботливо спросил ее супруг.

– Нет-нет, – ответила она полголоса, – это все то же. – И, взглянув на мужа, тихо спросила: – Ты *ее* видел у Эдуэнов?

– Да, видел. Она спрашивала о тебе.

Глаза мадам Кампардон увлажнились.

– Уж верно, она-то чувствует себя прекрасно!

– Ну-ну, успокойся, успокойся! – приговаривал архитектор, осыпая легкими поцелуями волосы жены, словно забыв, что они здесь не одни. – Ты расстроишься, и тебе опять будет плохо. Не забывай, моя курочка, что я тебя обожаю!

Октав, который сперва из скромности отошел к окну, якобы желая посмотреть на улицу, обернулся и пытливо взглянул в лицо госпожи Кампардон; его мучило любопытство, он спрашивал себя: а *знает* ли она? Однако к Розе скоро вернулось привычное выражение кроткой, томной печали, и она свернулась клубочком в уголке дивана, словно женщина, привыкшая получать свою порцию мужниных ласк.

В конце концов Октав пожелал супругам спокойной ночи. Он еще стоял на лестничной площадке, со свечой в руке, как вдруг услышал шелест шелковых юбок, задевавших ступени.

Октав вежливо посторонился. Вероятно, это возвращались с вечеринки госпожа Жоссеран и ее дочери.

Проходя мимо молодого человека, мать – полная, представительная дама – пытливо взглянула ему в лицо; что касается дочерей, то старшая из них надменно прошла наверх, стараясь не задеть Октава, а младшая посмотрела на него с веселым изумлением, не скрывая улыбки, ясно видной при ярком огоньке свечи. Эта девушка, с задорной гримаской на светлом личике, каштановыми волосами, отливавшими золотом, и дерзкой грацией новобрачной, возвращавшейся с бала, была очаровательна, хотя ее наряд, с множеством бантиков и кружев, выглядел слишком пышным – девушки на выданье такого не носят. Их шлейфы исчезли за поворотом лестницы, и наверху захлопнулась дверь. А Октав все еще стоял на площадке, с улыбкой вспоминая веселый взгляд девушки.

Наконец он в свой черед медленно поднялся наверх. Его путь освещал один-единственный газовый рожок, еще горевший внизу; лестница дремала в душном тепле. Сейчас она казалась ему еще более внушительной, так же как и прочные двери из благородного красного дерева, за которыми скрывались добродетельные супружеские спальни. Сквозь эти двери не проникал ни один вздох, всюду царила благопристойная тишина: воспитанные обитатели дома не позволяли себе храпеть. Но вдруг Октав услышал шорох внизу и, перегнувшись через перила, увидел в вестибюле Гура, в домашних туфлях и ночном колпаке; консьерж гасил последний газовый рожок. Мгновенно все исчезло: дом погрузился в непроницаемую ночную тьму, в торжественное безмолвие всеобщего сна.

А Октаву долго еще не удавалось заснуть. Он беспокойно вертелся в постели, перебирая в памяти увиденные новые лица и спрашивая себя: отчего Кампардоны так любезны с ним? Уж не мечтают ли они позже выдать за него свою дочь? А может быть, Кампардон поселил его здесь, чтобы он, Октав, развлекал и занимал его супругу? И что за странная болезнь мучит эту бедную женщину? Вслед за тем его мысли и вовсе спутались, и перед ним прошла целая череда образов: малютка Пишон с ее светлыми, пустыми глазами; прекрасная госпожа Эдуэн в черном платье, сосредоточенная и серьезная; и Валери с ее пламенным взглядом, и мадемуазель Жоссеран с ее веселой улыбкой. Скольких женщин увидел он всего за несколько часов здесь, в Париже! А ведь он всегда мечтал о том, как прекрасные дамы возьмут его за руку и поведут по дороге делового успеха. И теперь ему мерещились все, кого он узнал за нынешний день; их образы преследовали его с пугающим упорством. Но он не знал, которую из них выбрать, с трудом пытался сдержать свой нежный голос и ласкающие движения. Потом, внезапно устав и придя в раздражение, уступил врожденной грубости и жестокому презрению к женщинам, таившимся под внешним, показным восхищением перед ними.

– Дадут ли они мне заснуть, наконец?! – вскричал он, резко повернувшись на спину. – Я возьму первую же из них, которая меня захочет, все равно какую, или всех разом, если им будет угодно!.. А теперь – спать, завтра будет новый день!



## II

Госпожа Жоссеран вышла вслед за дочерьми из гостиной мадам Дамбревиль, жившей на пятом этаже дома, на углу улиц Риволи и Оратуар, и яростно захлопнула за собой дверь, дав наконец волю гневу, который сдерживала целых два часа. Ее младшая дочь Берта опять упустила жениха!

– Ну чего же вы ждете? – сердито спросила она девушек, которые медлили в подворотне, глядя на проезжавшие экипажи. – Идите пешком!.. И не надейтесь, что я найму фиакр! Я не собираюсь выбрасывать еще два франка, ни в коем случае!

Ее старшая дочь Ортанс пробормотала:

– Ничего себе – шлепать по такой грязи! Мои туфли развалятся вконец!

Услышав это, мать пришла в ярость:

– Идите, вам говорят! Когда у вас развалятся туфли, будете лежать в постели, вот и все. Стоит ли тратиться, чтобы вывозить вас в свет?!

Берта и Ортанс, понурившись, вышли из подворотни и свернули на улицу Оратуар. Они шагали, сутулясь и дрожа от холода под тоненькими бальными накидками, стараясь как можно выше подобрать пышные длинные юбки. Госпожа Жоссеран следовала за ними, кутаясь в старую, вконец облысевшую пелерину из беличьих брюшек, больше похожих на кошачьи. Все три были без шляп и прикрывали головы лишь тонкими кружевными шарфами; их пышные прически вызвали любопытство поздних прохожих, которые с удивлением смотрели, как эти дамы пробираются гуськом вдоль домов, сутулясь и глядя под ноги, чтобы не ступить в лужу. А мать разъярялась все сильнее, вспоминая о таких же прежних возвращениях за три прошедшие зимы, по черной уличной грязи, в помятых платьях, под хихиканье поздних гуляк. Нет, с нее довольно; пора наконец с этим покончить и не таскать больше этих девиц по парижским улицам, не позволяя себе роскошь нанять фиакр из страха, что назавтра придется сократить меню ужина!..

– И эта особа еще занимается сватовством, нечего сказать! – громко сказала она в адрес мадам Дамбревиль, не обращаясь к дочерям, единственно для собственного утешения, когда они свернули на улицу Сент-Оноре. – Собирает у себя кучу фифочек, набранных неизвестно где! Ах, если бы не надобность!.. И она еще хвастает своим последним успехом – этой невестой, которую затащила к себе, чтобы доказать нам, какая она умелая сваха, – хорошенький же она выбрала пример! Эту несчастную девчонку после скандала полгода продержали в монастыре, чтобы покрыть грех!

Девушки уже переходили через площадь Пале-Рояль, как вдруг хлынул жестокий ливень. Это была настоящая катастрофа. Они остановились на скользком тротуаре, не решаясь идти дальше и с надеждой глядя на пустые фиакры, катившие мимо.

– Идите, идите! – закричала их безжалостная мать. – Мы уже почти у дома, не стоит тратить сорок су на экипаж... Подумать только: ваш братец Леон не захотел идти с нами – видно, боялся, что мы заставим его платить! У него какие-то делишки с этой дамой – что ж, тем лучше, но уж поверьте мне, что там все нечисто. Женщина, которой давно за пятьдесят, принимает у себя только молодых людей! Ничтожная бабенка, а ведь как повезло: некий важный господин выдал ее за этого болвана Дамбревиля, за что и назначил его столоначальником!

Ортанс и Берта семенили под дождем, одна за другой, делая вид, что не слышат мать. Когда она утешала себя таким образом, без стеснения облегчая душу и забывая о правилах хорошего тона, которые навязывала дочерям, они по привычке притворялись глухими. Но сейчас, у поворота на темную, безлюдную улицу Эшель, Берта вдруг взбунтовалась.



– Ну вот! – воскликнула она. – У меня сломался каблук! Как я пойду дальше?

Мадам Жоссеран рассвирепела:

– А ну, идите сейчас же. Я вот иду и не жалею! А разве мне пристало брести по улицам в такое время, да в такую погоду?! Господи, хоть бы папаша ваш был приличным человеком, как другие отцы! Но нет, он преспокойно сидит дома да наливается вином. И никогда в жизни не согласится помочь – это я почему-то обязана вывозить вас в свет. Ну так вот, объявляю вам, что с меня хватит. Пускай ваш отец возится с вами, коли ему угодно выдать вас замуж; будь я проклята, если еще хоть раз повезу вас в такие дома, где меня смешивают с грязью!.. И этот человек похвалялся своими талантами, наплел мне с три короба... а я до сих пор расплачиваюсь за свою ошибку! О господи боже мой! Знай я все это заранее, ни за что не вышла бы за него!



Ее дочери уже не спорили: они наизусть знали нескончаемые жалобы матери по поводу ее разбитых надежд. Все три торопливо шагали по улице Сент-Анн; кружевные шарфы липли к их щекам, туфли промокли насквозь. Вдобавок на улице Шуазель, уже рядом с домом, госпожу Жоссеран подстерегало последнее унижение: экипаж возвращавшегося семейства Дюверье обрызгал ее грязью.

И только на лестнице мать и обе дочери, измученные и озлобленные, вновь обрели достойную осанку, когда им пришлось пройти мимо Октава. Однако едва за ними захлопнулась дверь, как они бросились через всю квартиру, натываясь на мебель, к столовой, где Жоссеран что-то писал при тусклом свете небольшой лампочки.

– Опять не вышло! – вскричала госпожа Жоссеран, рухнув на стул.

Она разъяренно сорвала с головы кружевной шарф, сбросила на спинку стула меховую накидку и осталась в своем платье огненного цвета, с черной атласной отделкой и низким декольте, открывающем все еще красивые плечи, похожие сейчас на лоснящиеся бедра кобылицы. Ее квадратное одутловатое лицо со слишком большим носом выражало трагическую ярость королевы, с трудом сдерживающей гнев, чтобы не разразиться грубой бранью.

– Вот как? – промямлил Жоссеран, подавленный этим неожиданным объявлением.

Он испуганно хлопал глазами. Жена неизменно пугала его, когда обнажала свой мощный бюст; бедняге так и чудилось, что эта лавина плоти вот-вот обрушится на его голову. На нем был старенький сюртук, который он донашивал дома; лицо, блестевшее от пота, поблекло, словно его краски стерла тридцатипятилетняя служба в канцелярии. С минуту он горестно глядел на жену большими голубыми, уже выцветшими глазами. Потом, заправив за уши вьющиеся полуседые волосы и так и не найдя с ответом, попытался вновь приняться за работу.

– Вы что, не поняли меня?! – гневно вскричала госпожа Жоссеран. – Я вам повторяю: нас вновь постигла неудача, а ведь это уже четвертая попытка!

– Да-да, я помню, четвертая... – пробормотал ее супруг. – Это прискорбно, весьма прискорбно...

И чтобы не смотреть больше на пугающую наготу жены, он с ласковой улыбкой повернулся к дочерям. Они также освободились от своих кружевных шарфов и бальных накидок – голубой у старшей и розовой у младшей; платья девушек, чересчур смелого покроя, с чересчур вычурной отделкой, выглядели на них слишком вызывающими. Старшей, Органс, с ее желтым лицом, которое вдобавок портил материнский нос, придававший ему выражение упрямого пренебрежения, недавно исполнилось двадцать три года, а выглядела она на все двадцать восемь; Берта, двумя годами младше, пока еще не утратила юную прелесть. Она унаследовала от матери те же, но более тонкие черты и, кроме того, могла похвастаться идеально белой кожей, так что лицо ее огрубеет не ранее чем к пятидесяти годам.

– Ну и когда же вы удостоите нас взглядом, всех трех? – вскричала госпожа Жоссеран. – Ради бога, оставьте свою писанину, это действует мне на нервы!

– Не могу, моя дорогая, – мягко ответил ее супруг, – я заполняю бандероли.

– Ах, скажите пожалуйста! Он, видите ли, заполняет бандероли, по три франка за тысячу!.. Уж не на эти ли три франка вы надеетесь пристроить своих дочерей?!

И в самом деле, стол, едва освещаемый скудным светом лампочки, был завален широкими лентами серой бумаги с печатными строчками, которые шли с интервалами; вот эти-то пропуски Жоссеран и заполнял от руки для одного крупного издателя, выпускавшего множество периодических изданий. Поскольку жалованья кассира на жизнь не хватало, он занимался этой неблагодарной работой целыми ночами, тайком от посторонних, стыдясь выдать свою бедность.

– Что ж, три франка – тоже деньги, – устало ответил он. – Они позволяют вам покупать ленты к вашим платьям и угощать пирожными гостей по вторникам.

Впрочем, он тут же пожалел об этих словах, поразивших его супругу в самое сердце и ранивших ее гордость. Она залилась краской со лба до низкого выреза платья и, казалось, уже готова была излить свою ярость в жестоких попреках, однако все же сдержалась, пробормотав только:

– О господи боже мой!..

И, презрительно передернув могучими плечами, взглянула на дочерей, словно желала сказать: «Вы слышали что-нибудь подобное?! Какой идиот!» На что обе девушки молча кивнули. А их отец, признав свое поражение, нехотя отложил перо и развернул «Газетт де Франс», которую приносил каждый вечер из своей канцелярии.

– Сатюрнен спит? – сухо спросила госпожа Жоссеран об их младшем сыне.

– Давным-давно, – ответил ее муж. – И я уже отослал Адель... А что Леон, вы видели его у Дамбревилей?

– Еще бы! Он ведь там и ночует! – бросила его супруга, не совладав с яростью.

На что ее удивленный супруг наивно переспросил:

– Ах вот как? Ты полагаешь?..

Ортанс и Берта сделали вид, будто не слышат. Однако между собой они обменялись легкой усмешкой, притворившись, будто всецело заняты своими туфлями, пришедшими в плачевное состояние. А супруга, решив сменить тему, нашла новый предлог для претензий: она ведь требовала, чтобы он каждое утро уносил из дому эту свою газетенку: нечего ей валяться в квартире весь день, как это было, например, вчера, а там напечатали отчет об одном гнусном судебном процессе, – ведь дочери могли его прочесть! Вот оно – доказательство его безнравственности!

– Ну что, неужели нам так и идти спать на пустой желудок? – спросила Ортанс. – Я ужасно проголодалась.

– Вот именно, – подхватила Берта, – я так просто умираю с голоду!

– Как это – вы голодны? – возмутилась госпожа Жоссеран. – Вы что же, ничего там не ели, даже пирог? Вот дуры бестолковые! Где же еще и есть, как не в гостях?! Уж я-то поела.

Но девушки не унимались, жалуясь, что хотят есть, им дурно от голода. В конце концов мать отвела их на кухню – проверить, не осталось ли там чего-нибудь съестного. Едва они вышли, как отец семейства снова боязливо взялся за свои бандероли. Он прекрасно знал, что без этого приработка роскошный образ жизни его семейства невозможен, а потому, невзирая на ссоры и несправедливые обвинения супруги, упорно занимался до рассвета своей тайной работой; этот достойный человек наивно полагал, что какой-нибудь лишний клочок кружева поможет дочерям найти себе богатых женихов. Семья уже урезала себя в питании, однако на туалеты и на вторичные приемы гостей денег все равно не хватало, и он решился взять эту каторжную работу, просиживая ночи напролет, в обносках, пока жена и дочери развлекались в чужих гостиных, принаряженные, с цветами в волосах.

– Господи, какая вонь! – воскликнула госпожа Жоссеран, войдя в кухню. – Когда же я добьюсь от этой неряхи Адель, чтобы она оставляла на ночь окно приоткрытым?! А она, видите ли, заявляет, что к утру кухня выхолаживается!

С этими словами она отворила окно, и снизу, из тесного внутреннего двора, в кухню тотчас проник холодный сырой воздух, пропитанный затхлой вонью подвальной плесени. Свеча, которую держала Берта, отбрасывала на стены гигантские тени женщин с обнаженными плечами.

– А грязь-то какая! – продолжала госпожа Жоссеран, приняхиваясь и шаря по углам. – Похоже, она не мыла стол для готовки уже две недели... Смотрите, вон тарелки с позавчерашнего обеда! Нет, ей-богу, это просто мерзость!.. А раковина... вы только понюхайте, как она пахнет, эта раковина! – вскричала она, гневно расшвыривая посуду руками в золотых браслетах, белыми от рисовой пудры, и волоча по заляпанному полу шлейф своего огненно-красного платья, который задевал стоявшие на полу кастрюли и овощные очистки, пачкавшие ее роскошный, тщательно продуманный туалет.

В конце концов вид щербатого ножа привел ее в совершенную ярость.

– Я завтра же утром вышвырну ее за дверь!

– И напрасно! – спокойно возразила Ортанс. – Тогда у нас вообще никого не останется. Это первая служанка, которая продержалась в доме три месяца... А все остальные, кто хоть как-то соблюдал чистоту и умел готовить соус бешамель, тотчас брали расчет.

Госпожа Жоссеран прикусила язык. Дочь была права: одна только бестолковая, вшивая Адель, приехавшая из Бретани, могла кое-как прислуживать в этом нищем, но тщеславном добропорядочном семействе, где ее держали в черном теле, пользуясь ее темнотой и нечистоплотностью. Сколько раз, увидав гребень с оческами, лежащий на хлебе, или отведав мерзкое рагу, от которого начинались колики, хозяйка собиралась уволить Адель, но в конечном счете смирялась, ибо заменить ее было нечем: даже самые вороватые служанки и те отказывались наниматься в этот дом, где хозяйка считает куски сахара.

– Что-то я ничего не нахожу, – пробормотала Берта, обшаривая шкаф.

И в самом деле, полки были прискорбно пусты, свидетельствуя о тщеславии этого семейства, где питались мясными обрезками, лишь бы поставить на стол цветы, когда приходят гости. Там нашлись только фарфоровые тарелки с золотой каемкой (увы, пустые!), щетка для сметания хлебных крошек со стола, с облезлой посеребренной ручкой, судки с засохшими потеками масла и уксуса, а больше ничего – ни забытой корки, ни крошки десерта, ни фруктов, ни сладостей, ни корочки сыра. Вечно голодная Адель так усердно, до последней капли соуса, выскребала все хозяйские блюда и тарелки, что стирала с них позолоту.

– Да что же это – неужто она доела кролика?! – вскричала госпожа Жоссеран.

– Похоже на то, – ответила Органс. – А ведь там оставался кусочек... Хотя нет, вот он! А я было удивилась – как это она посмела... Ну так вот, я его беру. Правда, он холодный, но делать нечего!

Что касается Берты, она тщетно искала хоть какую-нибудь еду и наконец обнаружила бутылку, в которую ее мать слила сироп от старого смородинового варенья, чтобы приготовить напиток для гостей. Девушка налила себе полстакана, пробормотав:

– Ага, вот что я сделаю: буду макать в него хлеб!.. Все равно больше ничего нет.

Однако госпожа Жоссеран все же обеспокоилась и строго взглянула на дочь:

– Давай не стесняйся, наливай себе, раз уж добралась! А вот что я завтра предложу гостям – простую воду?

К счастью, она обнаружила новый проступок Адель, что избавило Берту от попреков. Ее мать все еще кружила по кухне в поисках других преступлений служанки, как вдруг углядела на столе книгу, вызвавшую у нее новый приступ ярости:

– О боже, эта поганка опять притащила в кухню моего Ламартина!

Это был томик «Жослена». Схватив книгу, госпожа Жоссеран стала тереть переплет, стряхивая крошки и твердя, что она двадцать раз запрещала кухарке таскать ее по квартире и записывать на полях домашние расходы. Тем временем Берта и Органс поделили между собой последний жалкий кусок хлеба и унесли в спальню скудный ужин, сказав матери, что хотят снять бальные платья. Та бросила последний взгляд на давно остывшую плиту и вернулась в столовую, крепко зажав своего Ламартина под мышкой.

А Жоссеран продолжал писать. Он надеялся, что его половина ограничится презрительным взглядом, направляясь в спальню. Но она снова рухнула на стул напротив мужа и молча, пристально посмотрела на него. Бедняга почувствовал на себе этот пронизывающий взгляд и пришел в такое смятение, что его перо процарапало насквозь тонкую бумагу бандероли.

– Так это вы запретили Адель приготовить крем для завтрашнего приема? – спросила она наконец.

Вот тут ее изумленный супруг решился поднять глаза:

– Я... запретил? Ну что вы, моя дорогая!

– О, ну конечно, вы опять станете отрицать, как всегда... Но тогда почему же она не сделала крем, как я велела?.. Вы же прекрасно знаете, что завтра, перед нашим приемом, у нас будет ужинать дядюшка Башляр, – его именины так неудачно совпали с нашим приемным днем. И если не будет крема, придется заказывать мороженое – это еще пять франков, выброшенных на ветер!

Ее супруг даже не пытался отрицать свою вину. Не смея продолжить работу, он сидел, вертя в руках вставочку с пером. Воцарилось короткое молчание.

– Так вот, – приказала госпожа Жоссеран, – будьте любезны зайти утром к Кампардонам и вежливо – очень вежливо! – напомнить, что мы ждем их завтра к вечеру... Нынче к ним приехал родственник, молодой человек. И вы попросите их привести его тоже. Вы слышите: я хочу, чтобы он к нам пришел.

– Какой молодой человек?



– Я сказала: молодой человек, и точка, слишком долго вам объяснять... Я о нем уже разузнала. Приходится все делать самой – вы же бросили дочерей на произвол судьбы, все свалили мне на руки, их замужество вас совершенно не заботит! – Она говорила, с каждым словом распаляясь все сильнее. – Как видите, я еще сдерживаюсь, хотя, видит Бог, забот у меня выше головы!.. Молчите, молчите, или я действительно рассержусь...

Жоссеран молчал, но и это привело его супругу в ярость.

– В общем, все это уже невыносимо! Предупреждаю вас: в один прекрасный день я уйду из дому и оставлю на вас этих двух дур, ваших дочерей... Неужто я родилась на свет, чтобы прозябать в нищете?! Считать каждый грош, не позволять себе купить пару туфель; более того, даже не иметь возможности достойно принять у себя в доме друзей! И все это по вашей вине!.. Вы меня обманули, бесстыдно обманули. Порядочные люди не женятся, если у них нет ни гроша в кармане, чтобы обеспечить жену. А вы пыжились, хвастали своим блестящим будущим, дружили с сыновьями вашего хозяина, с этими братьями Бернгейм, которым всегда было плевать на вас... Да еще смеете утверждать, что они вас не надули! Вы давным-давно должны были стать их компаньоном! Разве не вы сделали их хрустальную фабрику тем, чем она является сегодня, – одним из лучших предприятий Парижа?! А вы как были, так и остались у них простым кассиром, жалким подчиненным, мальчиком на побегушках... Вот так! И не смейте возражать, вы просто жалкое ничтожество!

– Я получаю восемь тысяч франков, – пробормотал кассир. – Это хорошее жалованье.

– Хорошее жалованье?! После тридцати-то лет беспорочной службы?! – фыркнула госпожа Жоссеран. – Вами помыкают, а вы и рады стараться... А знаете, что я сделала бы на вашем месте? Я давным-давно прибрала бы к рукам их хваленую компанию. Это ведь было легче легкого; я сразу все поняла, еще когда выходила за вас, и с тех пор постоянно склоняла вас к этому. Но для такого требуются мозги и предприимчивость, тогда как вы спали наяву, тюфяк эдакий!

– Но, помилуйте, – прервал ее Жоссеран, – ведь не станете же вы упрекать меня в том, что я вел себя как честный человек?!

Услышав это, супруга встала и надвинулась на мужа с угрожающим видом, размахивая своим Ламартином:

– Честный человек? И как вы это понимаете?.. Да вы сперва станьте честным по отношению ко мне! А все остальные – это уж потом, я надеюсь! Так вот что я вам скажу, милостивый государь: честный человек не стал бы завлекать девушку в свои сети, хвастаясь, что он разбогатеет в один прекрасный день, а в результате сделавшись сторожем при чужой кассе. Нечего сказать, хорошо же вы обвели меня вокруг пальца!.. Ах, если бы можно было вернуть то время; если бы знать, в какую семейку я угодила!..

И она в гневе металась по комнате из угла в угол. Ее супруг, горячо желавший заключить мир с женой, все же не сумел сдержать раздражения и сказал:

– Вам лучше бы лечь спать, Элеонора. Время уже второй час ночи, а у меня срочная работа, уверяю вас... Мои родные ничего плохого вам не сделали, давайте не будем о них говорить.

– А почему бы мне о них не поговорить?! Я не думаю, что ваше семейство лучше прочих... И в Клермоне всем известно, что ваш папаша, поверенный, продал свою контору и разорился из-за какой-то служанки. Вам уже давно удалось бы выдать замуж своих дочерей, если бы он не путался с этой шлюхой в семьдесят с лишним лет. Вот он-то первый меня и обокрал!

Господин Жоссеран побледнел. И ответил дрожащим голосом, который мало-помалу окреп:

– Послушайте, давайте не будем попрекать друг друга нашими семьями. Напоминаю, что ваш отец так и не отдал мне обещанные тридцать тысяч франков вашего приданого.

– Что?..

– Да, именно так, и не притворяйтесь, будто ничего не знаете!.. Если мой отец и попла- тился за свои грехи, то ваш повел себя непорядочно по отношению ко всем нам. Я так и не разобрался в его наследственных делах; он пошел на всякие низкие уловки, чтобы пансион на улице Фоссе-Сен-Виктор достался мужу вашей сестры, этому ничтожеству, который нынче даже не здоровается с нами... Они нас попросту ограбили, как разбойники с большой дороги.

Госпожа Жоссеран смертельно побледнела; она даже не сразу нашлась с ответом, чтобы опротестовать дерзкие упреки восставшего супруга.

– Не смейте говорить плохо о папе! Он был гордостью школы целых сорок лет. Спро- сите кого хотите об учебном заведении Башляра в квартале Пантеона!.. А что касается моей сестры и зятя, то... да, они именно таковы; я знаю, что они меня обобрали, но не вам о них судить, я этого не потерплю, слышите вы, не потерплю! Разве я вас попрекаю вашей сестрой из Лезандли, которая сбежала из дому с офицером?! Так как же вы смеете меня оскорблять после этого?!

– Да, с офицером – который женился на ней, мадам!.. А вы лучше вспомните о дядюшке Башляре, вашем брате, человеке и вовсе беспутном...

– Да вы просто рехнулись, сударь! Он богат, он зарабатывает кучу денег на посредниче- ских сделках, и он обещал дать Берте приданое... разве это не вызывает уважения?

– Ах вот как, приданое для Берты! Могу биться об заклад, что он не даст ей ни гроша, и все наши старания вытерпеть его отвратительные манеры пропадут втуне! Когда он бывает у нас, я просто сгораю со стыда. Лжец, развратник, эксплуататор, который пользуется нашим положением, который вот уже пятнадцать лет, зная, как мы стелемся перед ним из-за его богат- ства, каждую субботу заставляет меня проводить два часа в его конторе и проверять его наклад- ные! На этом он экономит целых сто су... Мы еще убедимся, чего стоят его посулы.



Госпожа Жоссеран, задохнувшись от возмущения, смолкла на минуту. Потом выкрикнула последний довод:

– А зато ваш племянник служит в полиции, сударь мой!

Наступило короткое молчание. Огонек маленькой лампы становился все бледнее, ленты бандеролей взлетали под лихорадочными взмахами рук Жоссерана; он глядел на супругу, сидевшую напротив, на ее низкодекольтированное платье, готовясь высказать все, что у него накопело, и дрожа от собственной храбрости.

– На восемь тысяч франков можно жить вполне благополучно, – произнес он. – Не понимаю, почему вы все время жалуетесь. Просто не нужно жить с таким размахом. А эта ваша мания наносить визиты, назначать у нас журфиксы, потчевать гостей чаем с пирожными...

Однако жена прервала его на полуслове:

– Ага, вот вы и проговорились! Ну что ж, заприте меня в своем доме, обвините в том, что я не выхожу на улицу голая... А вот как быть с нашими дочерьми, где они найдут себе женихов, если мы перестанем знаться с людьми? За ними и так никто не ухаживает. Так стоит ли жертвовать собой, если вам потом будут приписывать такие низкие помыслы?!

– Мадам, мы уже и так пожертвовали очень многим. Леону пришлось ради сестер уйти из дому без гроша, в чем был. Что же касается Сатюрнена, бедный мальчик даже не умеет читать... Я лишаю себя буквально всего, работаю по ночам...

– О, тогда к чему же было заводить дочерей?.. Неужто для того, чтобы потом попрекать их образованностью? Любой другой на вашем месте гордился бы аттестатами Ортанс и талантами Берты, которая не далее как нынче вечером очаровала всех своим исполнением вальса «На берегах Уазы», а завтра несомненно вызовет восхищение наших гостей своей последней картиной... Нет, сударь, вы дурной отец; будь ваша воля, вы давно послали бы своих детей пасти коров, вместо того чтобы обучать их в пансионе.

– Вспомните, что я оплачивал страховку для Берты. И что же вы сделали, когда наступил срок четвертой выплаты? Потратили эти деньги на обивку мебели в гостиной! А затем потребовали вернуть вам три первые выплаты!

– Конечно! Ведь вы попросту морили нас голодом... Ну, погодите, сударь, вы еще раскаетесь, когда ваши дочери останутся старыми девами.

– Это я раскаюсь?! Да вы же сами, черт подери, распугиваете женихов своими туалетами и дурацкими суаре!

Жоссеран никогда еще не позволял себе такой дерзости. Его супруга, задыхаясь от ярости, бормотала:



– Это я... это у меня-то дурацкие суаре?!

Но тут растворилась дверь и вошли Ортанс с Бертой, обе с распущенными волосами, в нижних юбках и сорочках, в шлепанцах на босу ногу.

– Господи, до чего же у нас в спальне холодно, прямо зуб на зуб не попадает! – воскликнула Берта. – Слава богу, нынче вечером хотя бы здесь протопили.

И девушки придвинули стулья поближе к печке, еще хранившей остатки тепла. Ортанс держала в руке кроличью спинку, которую старательно обгладывала до костей. Берта макала хлебные корочки в стакан с сиропом. Впрочем, их родители, похоже, даже не заметили появления дочерей, они продолжали препираться.

– «Дурацкими суаре»?.. Что ж, я больше не стану их устраивать, мои «дурацкие суаре»! Пусть мне отсекут голову, если я куплю еще хоть пару перчаток для того, чтобы выдать их замуж... Занимайтесь этим сами! И постарайтесь при этом выглядеть не так по-дурацки, как я!

– Черт побери, да как же их пристроить, после того как вы, сударыня, таскали и компрометировали их повсюду?! Делайте что хотите – сватайте их, не сватайте, мне на все наплевать!

– И мне тоже наплевать, еще больше, чем вам! До того наплевать, что я выгоню их на улицу, если вы опять посмеете меня мучить. А если вам их станет жаль, можете убираться вместе с ними, скатертью дорога!.. О боже мой, наконец-то я тогда избавлюсь от вас!

Девушки, давно уже привыкшие к родительским скандалам, спокойно слушали эту перебранку. Они сидели у печки, прижимаясь к теплым фаянсовым плиткам, не обращая внимания на скандал и продолжая жадно есть, очаровательные в своих сорочках, спадавших с плеч, с сонными глазами.

– Зря вы ругаетесь, – сказала наконец Органс, не переставая жевать. – Мама расстроится, а папа завтра пойдет в свою контору с головной болью... По-моему, мы уже достаточно взрослые, чтобы самим сыскать себе женихов.

Ее слова прервали родительскую ссору. Отец, в полном изнеможении, сделал вид, будто продолжает работать; он сидел, уткнувшись в свои бумаги, но не мог писать, так сильно тряслись у него руки. Зато мать, метавшаяся по комнате, словно разъяренная львица, тут же налетела на Органс.

– Если ты имеешь в виду себя, то ты просто дура набитая! – крикнула она. – Твой Вердье никогда в жизни на тебе не женится!

– Ну, это уж моя забота, – спокойно возразила девушка.

Презрительно отказав пяти или шести претендентам на ее руку – скромному служащему, сыну портного и другим молодым людям, не имевшим никакого будущего, – она положила во что бы то ни стало выйти за адвоката Вердье, встреченного у Дамбревилей; ему было уже сорок лет. Органс считала этого господина очень успешным и прочила ему блестящую карьеру. Но на ее беду, Вердье уже лет пятнадцать жил с любовницей, которую в их квартале даже считали его законной супругой. И хотя девушке все было известно, она не придавала этому никакого значения.

– Дитя мое, – сказал ее отец, снова подняв голову, – я ведь просил тебя не рассчитывать на этот брак... Ты же знаешь, каково положение вещей.

Девушка, отложив кроличью косточку, сердито спросила:

– Ну и что? Вердье положительно обещал мне бросить эту глупую курицу.

– Органс, напрасно ты так говоришь... Что, если этот человек в один прекрасный день бросит тебя и вернется к той, которую ты заставила его покинуть?

– А это уж моя забота! – так же резко оборвала его дочь.

Берта внимательно слушала их, хотя давно знала эту историю, подробности которой ежедневно обсуждала с сестрой. Впрочем, она, как и ее отец, втайне сочувствовала несчастной женщине, которую собирались выбросить на улицу после пятнадцати лет жизни с любовником. Но тут вмешалась госпожа Жоссеран:

– Ах, оставьте! Эти развратницы всегда кончают жизнь в канаве. Тут дело в другом: Вердье никогда в жизни не решится ее выгнать... Он просто водит тебя за нос, милочка. На твоём месте я ни минуты не ждала бы, пока он решится, а постаралась бы найти еще кого-нибудь.

Органс побелела, от злости ее голос стал пронзительным:

– Мама, ты меня хорошо знаешь... Мне нужен только Вердье, и я этого добьюсь, буду ждать его хоть сто лет, но никогда не выйду ни за кого другого!

На что ее мать ответила, пожав плечами:

– И ты еще считаешь других дурочками!

Но девушка в ярости вскочила на ноги и закричала:

– Не смей так говорить! Я доела кролика и уж лучше пойду спать. Раз тебе не удастся выдать нас замуж, так позволь нам действовать самим!

И она вышла, с грохотом захлопнув за собой дверь.

Госпожа Жоссеран величественно повернулась к своему супругу. И мрачно изрекла:

– Вот, сударь, плоды вашего воспитания!

Но муж не ответил: он ставил пером чернильные точки на своем ногте, выжидая, когда же ему наконец дадут поработать. Берта, доевшая хлеб, запустила палец в стакан, чтобы собрать остатки сиропа. Она сидела спиной к печке, разомлев в тепле и не спеша уходить, – ей вовсе не хотелось возвращаться в холодную спальню и выслушивать сварливые речи сестры.

– Вот она – награда за мои труды! – продолжала госпожа Жоссеран, снова расхаживая взад-вперед по столовой. – Двадцать лет гнешь спину на дочерей, лишаешь себя всего, чтобы воспитать их как настоящих барышень, а эти неблагодарные даже не позволяют матери выбрать им жениха на ее вкус... И добро бы им в чем-нибудь отказывали!.. Я тратила на них все до последнего сантима, сэкономила на своих платьях, наряжала их, как принцесс, словно у нас пятьдесят тысяч франков ренты... Нет, поистине, это полная нелепица! Даешь этим нахалкам блестящее воспитание, светское и религиозное, учишь их манерам богатых барышень, и вот нате вам! – в один прекрасный день они объявляют, что намерены бросить родителей и выйти замуж за какого-нибудь адвоката, за авантюриста, погрязшего в разврате!

Тут она осеклась, вспомнив о присутствии Берты, и ткнула в нее пальцем:

– Запомни: если ты пойдешь по стопам своей сестрицы, будешь иметь дело со мной!

И продолжала разглагольствовать, уже ни к кому не обращаясь, перескакивая с одной темы на другую и противореча самой себе, с тупым упрямством женщины, считающей, что она всегда права.

– Итак, я исполнила свой долг и, если бы понадобилось, повторила бы то же самое... В этой жизни проигрывают самые стыдливые. А деньги есть деньги, и когда их нет, самое разумное – держать рот на замке... Вот я, когда у меня в кармане было двадцать су, всегда говорила, что сорок, потому что это умнее: уж лучше вызывать зависть, чем жалость... Можно быть сколько угодно образованным, но, если вы не устроены, люди все равно будут вас презирать. Это несправедливо, но такова жизнь... Я готова носить грязные нижние юбки, нежели ходить в чистом ситцевом платьишке. И вот мой девиз: ешьте картошку в семейном кругу, но подавайте курицу, когда созываете гостей на ужин. А те, кто утверждает обратное, попросту безмозглые дураки!

И она вперила взгляд в мужа, которому предназначались последние слова. Бедняга, вконец обессиленный, решил сдаться и трусливо объявил:

– Золотые слова, нынче одни только деньги в почете.

– Слыхала, что говорит отец? – подхватила госпожа Жоссеран, обратившись к дочери. – А теперь марш в постель и постарайся больше не огорчать родителей... Как же это ты ухитрилась сегодня упустить жениха?!

Берта поняла, что настал ее черед.

– Не знаю, мама, – пробормотала она.

– Помощник столоначальника! – продолжала ее мать. – Еще и тридцати нет, а у него уже такое блестящее будущее! Каждый месяц будет приносить в дом деньги, и положение у него прочное, вот что самое важное! А ты, верно, держалась с ним так же глупо, как со всеми предыдущими?

– Нет, мама, уверяю тебя, что нет... Он, верно, навел справки и разузнал, что за мной ничего не дают.

Госпожа Жоссеран возмущенно вскинулась:

– А как же приданое, которое тебе обещал твой дядюшка? Все это знают, все слышали об этом приданом... Нет, тут что-нибудь другое – слишком уж внезапно он оборвал знакомство... Когда вы с ним танцевали, то зашли в малую гостиную, верно?

Берта смущенно потупилась:

– Да, мама... И когда мы остались там наедине, он пустился на всякие гадости – обнял меня и прижал к себе, вот так, крепко... Я испугалась, оттолкнула его, и он ударился о комод...

Разъяренная мать прервала ее:

– Оттолкнула... ударился о комод?... Да ты просто дура набитая!

– Но, мама, он меня схватил...

– Ну и что тут такого?... Он вас схватил, мадемуазель, – подумаешь, какая важность! Вот и посылайте после этого таких дур в пансион! Чему только вас там учили, скажи, пожалуйста?!

Щеки и плечи девушки залила краска. На глазах выступили слезы оскорбленной стыдливости.

– Я не виновата, у него был такой свирепый вид... Откуда я знаю, что нужно делать в таких случаях?!

– Что нужно делать?! Она еще спрашивает, что нужно делать!.. Сколько раз я вам твердила, что ваша стыдливость просто смешна! Вы родились, чтобы жить в обществе. Когда мужчина обходится с вами чересчур фамильярно, это доказывает, что вы ему нравитесь; и есть десятки способов поставить его на место мягко, не обижая... Подумаешь, какой-то поцелуй за дверью! На самом деле вам не обязательно и докладывать об этом родителям! – И она продолжала назидательным тоном: – Ну, с меня хватит, это безнадежно, вы просто глупая курица, дочь моя... Мне надоело вдавливать вам правила поведения, все равно толку не будет. Поскольку у вас нет денег, поймите же наконец, что нужно ловить мужчин на иную приманку. Держитесь любезно, глядите томно; если вас возьмут за руку, не отнимайте ее, позволяйте себе как бы между прочим невинные шалости – одним словом, ловите себе мужа... И не надейтесь, что вы станете красивее оттого, что льете слезы как последняя дурочка!

Берта разрыдалась еще пуще.

– Ох, как ты меня раздражаешь своим хныканьем! Жоссеран, прикажите вашей дочери не портить лицо слезами. Не хватает еще, чтобы она подурнела!

– Дитя мое, будь благоразумна, – сказал отец. – Слушайся мать, она тебе плохого не посоветует. Ты же не хочешь подурнеть, моя дорогая?

– Но больше всего меня бесит то, что она, когда хочет, может быть вполне хорошенькой, – продолжала госпожа Жоссеран. – А ну-ка, вытри глаза и посмотри на меня так, словно я мужчина, который с тобой флиртует... Улыбнись, урони свой веер, чтобы этот господин, поднимая его, мог коснуться твоих пальчиков... Да нет же, все не так. Чего ты надулась и смотришь как больная курица? Откинь головку, покажи свою шею: она достаточно свежа, чтобы ею можно было похвастаться.

– Вот так, мама?

– Ну вот, теперь получше... И не держись так напряженно, изгибайся, показывай, какая у тебя гибкая талия. Мужчины не любят женщин, похожих на доску... А главное, если они заходят слишком далеко, не строй из себя недотрогу. Мужчина, который ведет себя чересчур вольно, доказывает тем самым свою пылкость, моя милая.

Часы в гостиной уже пробили два часа ночи, а мать, все еще возбужденная этим затянувшимся бдением и обуреваемая неистовым желанием скорейшего замужества дочери, забыв обо всем на свете, говорила и говорила, вертя дочь во все стороны, точно картонного паяца. Девушка вяло, безвольно подчинялась ей, как ни тяжело было у нее на сердце, как ни сжималось у нее горло от страха и стыда. В конце концов, оборвав серебристый смех, которому учила ее мать, она горько разрыдалась, бессвязно лепеча с искаженным лицом:

– Нет... нет! Это слишком отвратительно!..



Госпожа Жоссеран, растерянная и уязвленная, на секунду умолкла. Еще с того момента, как они покинули квартиру Дамбревилей, у нее прямо руки чесались – надавать пощечин дочери. И теперь она, размахнувшись, влепила Берте жестокую оплеуху:

– Вот тебе, получай! Ты мне надоела!.. Боже, какая дура! Ей-богу, мужчины правы, что обходят тебя!

От этого резкого движения Ламартин, которого госпожа Жоссеран так и не выпустила из рук, свалился на пол. Она подобрала его, обтерла и, волоча шлейф своего парадного платья, величественно направилась в спальню.

– Ну вот, так я и знал, что этим кончится, – прошептал ее супруг; он даже не посмел задержать дочь, которая тоже вышла из комнаты, держась за щеку и плача еще горше.

Пробираясь ощупью через переднюю, Берта наткнулась на своего брата Сатюрнена, который подслушивал их, стоя босиком, под дверью. Это был рослый малый двадцати пяти лет, нескладный, со странными глазами, оставшийся сущим ребенком после перенесенного воспаления мозга. Он не был безумен, но постоянно терроризировал домашних приступами бешенства, когда ему в чем-нибудь противоречили. И только Берта могла успокоить его одним взглядом. Во время ее долгой болезни, когда она была еще маленькой, брат ухаживал за ней, подчинялся, как верный пес, малейшим ее капризам и с тех пор, став спасителем сестры, относился к ней со слепым и преданным обожанием.

– Она опять тебя била? – спросил он возбужденным шепотом.

Берта, испуганная этой встречей, попыталась отослать его из передней:

– Иди к себе и ложись спать, это тебя не касается.

– Нет, касается. Я не хочу, чтобы она тебя била, слышишь, не хочу!.. Она меня разбудила своими криками... Пусть она больше так не делает, а то я ее убью!

Сестра схватила его за руки, успокаивая, словно разъяренного пса.

Сатюрнен тут же притих и пробормотал, по-детски всхлипывая:

– Она тебе сделала больно?.. Ну скажи, где у тебя болит, дай я поцелую. – И, найдя ощупью щеку сестры, обцеловал ее, облизывая, омочил слезами, твердя: – Ну все, уже не больно, уже не больно!

Тем временем Жоссеран, оставшийся в одиночестве, уронил на стол свое перо, не в силах справиться с нахлынувшим горем. Посидев так несколько минут, он встал, на цыпочках подошел к двери и прислушался. Его супруга уже храпела в спальне. Дочери у себя в комнате больше не плакали. В квартире воцарились тьма и покой. Слегка утешенный, он вернулся к столу, поправил потрескивавший фитиль лампы и машинально погрузился в работу. Две крупные слезы, которых он и не заметил, скатились на бандероли в торжественной тишине уснувшего дома.

### III

За рыбным блюдом – это был сомнительной свежести скат, в пережаренном масле, которого эта поганка Адель вдобавок щедро полила уксусом, – Органс и Берта, сидевшие по обе стороны от Башляра, наперебой уговаривали дядюшку выпить, наполняя его бокал и твердя:

– Нынче ведь ваши именины, дядюшка!.. Выпейте за свое здоровье, дядюшка!..

Сестры сговорились непременно выжать из дяди двадцать франков. Каждый год их предусмотрительная мамаша сажала девушек рядом со своим братом и отдавала им его на растерзание. Но это была крайне сложная задача, она требовала упорства и настойчивости обеих девиц, неустанно мечтавших о модных бальных туфельках и о перчатках до локтя, на пяти пуговках. Для этого нужно было напоить дядюшку допьяна. Он относился к родным как последний скаред, притом что спускал в сомнительном обществе весь свой доход в восемьдесят тысяч франков, заработанных на посреднических сделках. Однако нынче вечером девицам повезло: Башляр явился к ним уже в подпитии, так как провел день в предместье, на Монмартре, у красильщицы, которая заказывала специально для него вермут в Марселе.

– За ваше здоровье, кошечки мои! – всякий раз отвечал дядюшка своим грубым, хриплым голосом, осушая бокал.

Он сидел во главе стола, сверкая драгоценными перстнями, с розой в петлице, – грузный старик с повадками торговца, гуляки и крикуна, погрязшего во всех пороках. Его искусственные, подозрительно белые зубы никак не сочетались с грубой, морщинистой физиономией; огромный красный нос пылал под седым ежиком густых, коротко остриженных волос; морщинистые веки то и дело падали, прикрывая бледные, мутные глаза. Гелен – племянник его покойной жены – утверждал, что дядюшка «не просыхает» уже десять лет, с тех пор как овдовел.

– Нарсис, съешь еще кусочек ската, он сегодня удался! – уговаривала госпожа Жоссеран, улыбаясь пьяному брату, хотя ее тошнило от одного его вида.

Она сидела напротив, по другую сторону стола; слева от нее помещался юный Гелен, справа – молодой человек по имени Эктор Трюбло, которому она была кое-чем обязана. Обычно она пользовалась этим семейным ужином, чтобы не устраивать отдельных приемов для некоторых гостей, вот почему их соседка мадам Жюзер также сидела здесь рядом с Жоссераном. Вдобавок дядюшка вел себя за столом крайне бесцеремонно, и чтобы спускать ему отвратительные манеры, нужно было очень уж рассчитывать на его наследство; впрочем, она показывала его только самым близким знакомым или людям, которым необязательно было пускать пыль в глаза. К таким, например, относился молодой Трюбло, на которого она прежде смотрела как на будущего зятя. Он служил у какого-то маклера, ожидая, когда его отец, человек с немалым состоянием, купит для него долю в этом деле; но, поскольку Трюбло выказывал крайнее отвращение к браку, хозяйка дома перестала с ним церемониться и теперь усаживала его рядом с Сатюрненом, который всегда ел крайне неряшливо. Берте, сидевшей по другую сторону от брата, поручалось сдерживать строгим взглядом его выходки – например, когда он запускал пальцы в соус.

После рыбного блюда служанка принесла паштет, и девушки сочли, что настал подходящий момент для новой атаки.

– Выпейте же, дядюшка! – сказала Органс. – Нынче ваши именины... Неужто вы не подарите нам что-нибудь по этому случаю?

– Да, верно! – добавила Берта намеренно простодушным тоном. – По случаю именин всегда делают подарки... Подарите нам двадцать франков!

Стоило девушке заговорить о деньгах, как Башляр притворился мертвецки пьяным.

Это была его обычная уловка: он прикрывал глаза, делал вид, будто ничего не понимает, и бормотал:

– Что-что? Какие еще двадцать франков?..

– Двадцать франков; и не притворяйтесь – вы прекрасно знаете, что такое двадцать франков, – настаивала Берта. – Подарите нам двадцать франков, и мы будем вас любить еще крепче, крепко-крепко!

И сестры принялись обнимать старика, осыпая его ласковыми словечками, целуя в багровые щеки и ничуть не брезгуя исходящим от него запахом самого низкого разврата. Жоссеран, с отвращением вдыхавший эту стойкую вонь – смесь абсента, табака и мускуса, – брезгливо передернулся, глядя, как его дочери прижимаются свежими личиками к физиономии старика, от которого так и несло мерзкой вонью порока.

– Оставьте его в покое! – выкрикнул он.

– С какой стати? – возмутилась госпожа Жоссеран, бросив испепеляющий взгляд на своего супруга. – Девочки просто забавляются... Если Нарсису захочется подарить им двадцать франков, он волен поступать, как ему угодно.

– Господин Башляр так добр к девочкам! – с умилением прошептала мадам Жюзер.

Однако дядюшка отбивался от племянниц и только твердил, совсем обмякнув, роняя слюну:

– Ну и дела... Ничего не понимаю, честное слово, ничего...

Ортанс и Берта, переглянувшись, оставили дядю в покое, – похоже, он еще был недостаточно пьян. И они начали усердно подливать ему вина, хихикая, словно уличные девки, решившие выбить деньгу из клиента. Их красивые обнаженные, по-девичьи свежие руки так и мелькали перед огромным багровым носом дяди.

Тем временем Трюбло, молчаливый юнец, развлекавшийся на свой лад, не спускал глаз с Адель, которая неумело хлопотала за спинами гостей. Он был очень близорук и потому считал красоткой эту девицу, с ее топорным лицом бретонки и волосами цвета грязной пакли. А она, подавая жаркое из телятины, как раз в этот момент налегла на его плечо, чтобы дотянуться до середины стола, и юноша, притворившись, будто поднимает упавшую салфетку, свирепо уцепил ее за лодыжку. Но служанка так ничего и не поняла и только недоуменно покосилась на него, решив, что он просит подать ему хлеб.

– Что случилось? – спросила мадам Жоссеран. – Она вам на ногу наступила? Ах, она так неуклюжа, ну да что с нее взять – деревенщина!

– О, ничего страшного, – ответил Трюбло, спокойно поглаживая густую черную бородку.

В столовой сперва было очень холодно, но постепенно, от пара горячей еды, беседа становилась все более оживленной. Мадам Жюзер уже в который раз начала жаловаться Жоссерану на свою одинокую, унылую жизнь – а ведь ей всего-то тридцать лет! Муж покинул ее на десятый день после свадьбы; о причинах она умалчивала. И вот теперь она влачит одинокое существование в своей уютной квартирке, куда впускает одних лишь священников.

– Ах, это так грустно, в мои-то годы! – с томной печалью говорила она, изящно поднося ко рту вилку с кусочком мяса.

– Бедняжка, как ей не повезло! – шепнула госпожа Жоссеран на ухо Трюбло, с видом глубокого сочувствия.

Однако тот с полнейшим безразличием смотрел на эту святошу с невинными глазами, подозревая в ней тайные пороки, скрытые под пресной личиной. Ему не нравились такие женщины.

Но тут случилась неприятность: Сатюрнен, за которым Берта, подступив к дяде, перестала следить, вздумал играть со своей порцией мяса, разрезая его на кусочки и выкладывая их мозаикой на тарелке. Бедный малый раздражал мать – она стыдилась сына, боялась его выходок, не знала, как от него избавиться, но из самолюбия не решалась сделать из него простого

рабочего, пожертвовав им ради его сестер; в свое время мать забрала его из пансиона, где этот отсталый подросток никак не развивался; с тех пор Сатюрнен уже много лет бродил по дому, бесполезный, тупой, и всякий раз, как матери приходилось выводить его на люди, это было для нее тяжким испытанием. Ее гордость была задета.

– Сатюрнен! – прикрикнула она.

Однако Сатюрнен, крайне довольный проделкой, только хихикнул. Он нисколько не уважал мать, открыто насмехался над ее грубым, лживым нравом и громко уличал ее в этом с прозорливостью, свойственной психически ненормальным. Сейчас все грозило скандалом: он вполне мог швырнуть тарелку ей в лицо, если бы Берта, вспомнив о своей обязанности, не устремила на брата строгий пристальный взгляд. Сатюрнен хотел было возмутиться, но его глаза тут же померкли, он съехал на своем стуле и до конца ужина так и просидел в прострации.

– Гелен, я надеюсь, вы не забыли принести свою флейту? – спросила госпожа Жоссеран, желая развеять тягостное впечатление от этой сценки.

Гелен играл на флейте по-любительски и только в тех домах, где к нему относились снисходительно.

– Мою флейту? Ну разумеется, принес, – рассеянно ответил он.

Его волосы и бакенбарды сейчас взъерошились больше обычного – он был крайне заинтересован маневрами девушек, наседавших на своего дядю. Сам он работал в одной страховой компании, встречал Башляра на выходе из конторы и уже не оставлял его, таскаясь за ним по одним и тем же кафе и злачным местам. Если кто-нибудь видел на улице грузную, развинченную фигуру одного, можно было с уверенностью сказать, что тут же появится бледная, испитая физиономия другого.

– Смелее, девушки, не отпускайте его! – внезапно воскликнул он, точно судья, считающий удары.

Дядюшка и в самом деле мало-помалу начал сдавать позиции. Когда после овощного блюда – зеленой фасоли – Адель подала ванильное и смородиновое мороженое, гости внезапно развеселились, и девицы воспользовались ситуацией, чтобы заставить дядю выпить полбутылки шампанского, которое госпожа Жоссеран покупала у соседа-бакалейщика по три франка за бутылку. После этого он совсем размяк и перестал притворяться непонимающим:

– Что, двадцать франков?.. А почему двадцать?.. Ага, вы, стало быть, хотите получить двадцать франков... Но у меня нет их с собой, клянусь Богом! Вот хоть спросите у Гелена. Не правда ли, Гелен, я оставил в конторе кошелек, и тебе пришлось заплатить за меня в кафе... Будь у меня двадцать франков, кошечки мои, я бы охотно дал их вам, уж больно вы милые!

Гелен, с обычным своим холодным взглядом, визгливо посмеивался, и этот смех походил на скрип несмазанного колеса. Он бормотал себе в бороду:

– Ох уж этот старый жулик! – Затем во внезапном приступе злорадства крикнул: – Да обыщите вы его!

Ортанс и Берта снова, совсем уж бесцеремонно, набросились на дядю. Страстное желание раздобыть двадцать франков, которое доселе сдерживалось строгим воспитанием, в конечном счете привело их в полное неистовство, и они совсем забыли о приличиях. Одна из сестер обшаривала жилетные карманы старика, вторая запустила руку в карманы редингота. Тем не менее дядюшка, отвалившийся от стола, все еще сопротивлялся, хотя его одолевал смех – смех, перебиваемый пьяной икотой.

– Честное слово, у меня нет ни гроша... – бормотал он. – Да прекратите же, вы меня щекочете!

– Ищите в панталонах! – вскричал Гелен, донельзя возбужденный этим зрелищем.

И Берта решительно, без стеснения, начала копаться в кармане панталон старика. Руки девушек дрожали, обе вели себя совсем уж бесцеремонно, готовы были отхлестать дядю

по щекам. Но тут Берта с победным воплем вытащила из глубины дядиногo кармана горсть мелочи, высыпала ее на тарелку и там, среди медных и серебряных монет, заблестала золотая двадцатифранковая.

– Вот она, голубушка! – вскричала она, растрепанная и красная от возбуждения, подбрасывая и ловя вожаделенную добычу.

Все сидевшие за столом аплодировали, найдя эту сценку весьма забавной. В комнате стоял гам, ужин получился веселее некуда. Госпожа Жоссеран глядела на дочерей с растроганной материнской улыбкой. Дядюшка, сгребавший с тарелки свою мелочь, назидательно объявил, что тот, кому понадобились двадцать франков, должен их заработать. А его племянницы, усталые и довольные, тяжело переводили дух; их губы все еще дрожали от нервного напряжения, вызванного неудержимым желанием добычи.

Но тут кто-то позвонил в дверь. Вечерняя трапеза слишком затянулась, это уже явились остальные гости. Жоссеран, решивший, в подражание своей супруге, посмеяться над недавним инцидентом, начал распевать за столом куплеты Беранже, однако та велела ему замолчать: Беранже оскорблял ее поэтические вкусы. Она поторопила служанку с десертом, тем более что дядюшка, расстроенный вынужденным подарком – потерей двадцати франков, – искал предлога для ссоры и жаловался, что его племянник Леон не снизошел до того, чтобы поздравить его с именинами. Леон должен был прийти только поздним вечером. Когда гости уже вставали из-за стола, Адель доложила, что в салоне ждет архитектор «снизу», а еще какой-то молодой человек.

– Ах да, тот самый юноша, – прошептала госпожа Жюзер, опершись на подставленную руку Жоссерана. – Так вы и его пригласили?.. Я нынче заметила его внизу, у консьержа. Он выглядит очень прилично.

Госпожа Жоссеран уже собралась взять под руку Трюбло, как вдруг Сатюрнен, оставшийся в одиночестве за столом, где он задремал во время суеты с двадцатью франками, проснулся, открыл глаза, вскочил, яростно опрокинув свой стул, и завопил:

– Я не хочу, черт побери! Не хочу!

Именно этого и боялась его мать. Она знаком велела мужу увести в салон мадам Жюзер. Потом освободилась от руки Трюбло, который все понял и исчез, но, видимо, ошибся дверью, так как попал в кухню, следом за Адель. Башляр и Гелен, не обращая внимания на «помешанного», как они его величали, хихикали в углу, хлопая друг друга по спине.



– Он сегодня вел себя очень странно; я так и знала, что вечером он устроит скандал, – в панике пролепетала госпожа Жоссеран. – Берта, иди скорее сюда!

Но Берта ее не слушала, она торжествующе показывала Органс двадцатифранковую монету. А Сатюрнен уже схватил нож, твердя:

– Черт бы их побрал! Я не хочу... я им всем распорю животы!...

– Берта! – в отчаянии позвала мать.



Наконец девушка подбежала к брату и как раз вовремя успела схватить его за руку, помешав ворваться в гостиную. Она яростно трясла его за плечи, а он все еще пытался объяснить ей со своей логикой сумасшедшего:

– Пусти меня, я должен это сделать... Говорю тебе, так будет лучше... Мне осточертели их грязные истории. Они всех нас продадут!

– Но это уже невыносимо! – закричала Берта. – Что ты тут мелешь?

Брат изумленно взглянул на нее, сотрясаясь от ярости, и сбивчиво пробормотал:

– Тебя опять хотят выдать замуж... Никогда, слышишь – никогда этому не бывать! Я не хочу, чтобы тебе было плохо.

Девушка невольно рассмеялась. С чего он взял, что ее хотят выдать замуж?

Но ее брат упрямо мотал головой: он знает, он это чувствует! И когда мать подошла к нему, желая успокоить, он сжал в руке нож так свирепо, что она отступила. Побоявшись, что их услышат гости, она шепотом велела Берте увести брата в его комнату и запереть там, а он тем временем, распаясь все сильнее, уже кричал во весь голос:

– Я не хочу, чтобы тебя отдавали замуж, не хочу, чтобы тебе причиняли зло... Если тебя выдадут замуж, я их всех зарежу!

Но Берта схватила его за плечи и, пристально глядя в глаза, сказала:

– Слушай меня внимательно: успокойся, не то я тебя разлюблю.

Сатюрнен пошатнулся, его лицо горестно исказилось, из глаз покатались слезы.

– Ты меня больше не любишь... не любишь... Не надо так говорить! Прошу тебя, скажи, что ты меня еще любишь и всегда будешь любить и никогда не полюбишь никого другого!

Берта взяла брата за руку и увела; он шел за ней послушно, как ребенок.

Тем временем в гостиной госпожа Жоссеран с преувеличенной любезностью беседовала с Кампардоном, величая его «дорогим соседом». Отчего госпожа Кампардон не осчастливила ее своим визитом? И, услышав от архитектора, что его супруге всегда неможется, воскликнула, что ее приняли бы здесь даже в пеньюаре и домашних туфлях. Однако при этом ее радушная улыбка была обращена к Октаву, который беседовал с Жоссераном; все ее любезности предназначались только ему, через плечо Кампардона. Когда супруг представил ей молодого человека, она обратилась к нему с такой горячей любезностью, что тот поневоле смутился.

Тем временем подходили новые гости – матери с худосочными дочерьми, отцы и дядья, еще не страшившие с себя дремоту канцелярий, и все они выталкивали вперед стайки невест на выданье. Две лампы под розовыми бумажными абажурами освещали салон так слабо, что едва можно было разглядеть старую мебель с некогда желтой бархатной обивкой, ободранное фортепиано и три темные литографии с швейцарскими видами, которые выделялись черными пятнами на холодной белизне стенных панно с позолотой. В этом скупом свете гости, с их унылыми, словно стертыми чертами, поношенными туалетами и поникшими фигурами, выглядели призраками.

Госпожа Жоссеран надела давешнее платье огненно-красного цвета, но, чтобы сбить с толку гостей, провела накануне целый день за работой, пришивая к лифу новые рукава и мастера кружевную пелерину, скрывавшую плечи; тем временем ее дочери, сидя рядом, в грязных сорочках, так же усердно работали иголкой, добавляя новые украшения к своим единственным нарядам, которые мало-помалу меняли еще с прошлой зимы.

После каждого звонка в дверь из передней доносилось шушуканье. Гости говорили тихо; любой смешок, вырвавшийся у одной из девушек, вносил фальшивую ноту в тишину этой мрачной комнаты. Башляр и Гелен, стоя позади маленькой мадам Жюзер, подталкивали друг друга локтями, изрекая непристойные шутки, и госпожа Жоссеран то и дело с тревогой поглядывала на них: она опасалась неприличного поведения брата. Однако мадам Жюзер явно все слышала: иногда у нее подрагивали губы, она улыбалась, с ангельской добротой выслушивая их фривольные истории. Дядюшка Башляр считался в этом отношении человеком опасным. Зато его племянник Гелен был, напротив, человеком в высшей степени целомудренным. Он упорно избегал близкого знакомства с женщинами, но не оттого, что презирал их, а из боязни последствий близких отношений, уверяя, что от них «вечно одни неприятности».

Наконец вернулась Берта. Она торопливо подошла к госпоже Жоссеран.

– Ну, все в порядке... ох и намаялась я с ним! – шепнула она матери на ухо. – Он никак не желал ложиться в постель, пришлось запереть его на ключ... Боюсь только, как бы он не переломал все там, у себя в комнате.

Мать свирепо дернула ее за платье: Октав, стоявший рядом с ними, обернулся и взглянул на них.



– Господин Муре, позвольте представить вам мою дочь Берту, – сказала госпожа Жоссе-ран самым что ни на есть ангельским тоном. – А это господин Муре, моя дорогая.

И она пристально взглянула на дочь. Берта, хорошо зная этот взгляд, означавший приказ «к бою», вспомнила вчерашние наставления матери и тут же пустила их в ход, умело изобразив девицу, безразличную к ухаживаниям кавалеров. Она прекрасно вошла в роль веселой, грациозной парижанки, уставшей от светской жизни, но посвященной во все ее тонкости; затем принялась горячо расхваливать юг, где никогда не бывала. Октав, привыкший к чопорным манерам провинциальных барышень, был очарован болтовней этой юной женщины, которая вела себя так непринужденно, почти дружески.

Но тут появился Трюбло, исчезнувший сразу после ужина; он проскользнул в салон через дверь столовой, и Берта, заметив его, наивно спросила, где это он пропадал. Трюбло промолчал, и она смутилась, потом, желая исправить свой промах, представила друг другу молодых людей. Мать, сидевшая поодаль в кресле, не спускала с дочери глаз, точно главнокомандующий, следивший за ходом боя. Наконец, сочтя, что первая «вылазка» окончилась успешно, она знаком подозвала к себе дочь и шепотом приказала:

– Дождись, когда придут Вабры, и тогда уж садись за пианино... Да играй погромче!

Тем временем Октав, оставшись один на один с Трюбло, пытался расспросить его о Берте:

– По-моему, она очаровательная девушка, верно?

– Да, недурна.

– А вон та особа в голубом платье – это ее старшая сестра, не правда ли? Она-то не так привлекательна.

– Ну еще бы, черт возьми! Она какая-то тощая.

Трюбло – близорукий, да и не желавший приглядываться к предмету их беседы – на самом деле был опытным мужчиной, твердо уверенным в своих вкусах и предпочтениях. Он вернулся в гостиную убогоустроенным и теперь грыз какие-то черные ядрышки, в которых Октав с удивлением признал кофейные зерна.

– Скажите, – внезапно спросил Трюбло, – у вас там, на юге, женщины, небось, куда более полнотелые?

Октав усмехнулся, и они с Трюбло тотчас почувствовали себя друзьями: их сближали общие вкусы. Присев в сторонке на диванчик, они пустились в откровения: Октав заговорил о хозяйке «Дамского Счастья» госпоже Эдуэн – чертовски красивая женщина, но слишком уж неприступная; Трюбло в свой черед поведал, что работает с девяти утра до пяти писцом в конторе биржевого маклера господина Демарке, у которого очень аппетитная служанка. В этот момент дверь салона растворилась и вошли трое новых гостей.

– А вот и Вабры, – шепнул Трюбло, придвинувшись поближе к своему новому другу. – Долговязый, похожий лицом на хилого барашка, – старший сын владельца дома, ему тридцать три года, и он всю жизнь мается мигренью, от которой у него глаза на лоб лезут; эта хворь когда-то помешала ему доучиться в коллеже; в результате бедняге пришлось заняться торговлей... А младший, Теофиль, вон тот рыжеватый недоносок с жидкой бороденкой, в свои двадцать восемь лет выглядит старичком; его донимают приступы кашля и бешенства. Он испробовал кучу всяких занятий, потом женился; молодая женщина, что идет впереди, – это его супруга Валери...

– Да я уже видел ее, – прервал его Октав. – Это дочь местного галантерейщика, не так ли? Но до чего же коварны эти дамские вуалетки: тогда она показалась мне хорошенькой... А на самом деле она всего лишь своеобразна – лицо какое-то бескровное, болезненное...

– Да, еще одна, которая не в моем вкусе, – самоуверенно заметил Трюбло. – Одни только глаза у нее великолепны; что ж, некоторым мужчинам только того и надо... Но до чего же тощая!

Хозяйка дома встала и радушно приветствовала Валери.

– Как, неужели господин Вабр не пришел с вами?! – воскликнула она. – И почему Дюверье не оказали нам честь своим визитом? А ведь они обещали прийти. Ах, как это дурно с их стороны!

Молодая женщина извинилась за свекра: почтенный возраст удерживает его дома, а к тому же он предпочитает работать по вечерам. Что же касается ее зятя и золовки, то они поручили ей извиниться перед хозяйкой дома: их пригласили на официальный прием, куда они не могли не пойти. Госпожа Жоссеран обиженно поджала губы. Уж она-то сама никогда не пропускала субботние приемы этих заносчивых соседей, которые сочли для себя позором тащиться к ней на пятый этаж. Разумеется, ее скромные «суаре» не идут ни в какое сравнение с их помпезными домашними концертами. Ну да ничего, главное – терпение! Когда обе дочери выйдут замуж, и зятя с их родней заполнят ее салон, она тоже начнет устраивать концерты с музыкой и хорами. И она шепнула на ухо Берте:

– Приготовься!

В комнате собралось около тридцати человек; гости сидели тесно, так как малую гостиную не открывали: она служила спальней для хозяйских дочерей. Новоприбывшие обменивались рукопожатиями с остальными. Валери села рядом с мадам Жюзер; тем временем Башляр и Гелен громко, не стесняясь, отпускали нелестные замечания в адрес Теофиля Вабра, которого величали «полным ничтожеством». В углу салона притулился Жоссеран; он робел в собственном доме, словно в гостях; его вечно теряли из виду даже тогда, когда он был на глазах у всех. Сейчас он с ужасом слушал историю, которую рассказывал один из его старых друзей: Бонно (он хорошо знал Бонно, бывшего старшего бухгалтера в управлении Северной железной дороги) прошлой весной выдал свою дочь замуж, и – что же вы думаете?! – он, Бонно, недавно узнал, что его зять, с виду вполне достойный господин, некогда работал клоуном в цирке и чуть ли не десять лет жил на содержании у какой-то цирковой наездницы...

– Тише, тише! – зашикали соседи, готовясь слушать музыку.

Берта подняла крышку фортепиано.

– Будьте снисходительны! – объявила госпожа Жоссеран. – Это небольшая скромная композиция... Господин Муре, вы, я думаю, любите музыку, подойдите ближе! Моя дочь исполняет эту пьеску довольно хорошо – о, разумеется, как любительница, но с душой, да-да, от всего сердца!

– Ага, попался! – пробормотал Трюбло. – Сейчас последует номер с музыкой.

Октаву поневоле пришлось подняться с места и встать около пианино. Видя, как госпожа Жоссеран увивается вокруг этого гостя, нетрудно было догадаться, что она заставила Берту играть специально для него.

– «Берега Уазы»! – объявила хозяйка дома. – Это и впрямь чудесная пьеса, простенькая, но поэтичная... Ну же, играй, моя дорогая, и не тушуйся. Надеюсь, господин Муре будет к тебе снисходителен.

Девушка, нимало не смущенная, начала играть. Мамаша не спускала с нее глаз – точь-в-точь сержант, готовый наградить оплеухой новобранца, нарушившего устав. Она была в отчаянии оттого, что инструмент, обезголосевший после пятнадцати лет ежедневных гамм, никак не мог соперничать с раскатистыми звуками рояля Дюверье; вдобавок ей вечно казалось, что дочь играет слишком тихо.

Уже с десятого такта Октав, который сосредоточенно кивал в такт музыке, перестал слушать. Он исподтишка разглядывал аудиторию, отмечая вежливо-рассеянное внимание мужчин и наигранный восторг дам, а на самом деле – короткую передышку людей, предоставленных самим себе, размышляющих о повседневных заботах, тень которых омрачала их усталые лица. Матери, несомненно, мечтали сейчас о замужестве дочерей и, судя по хищному оскалу, представляли себе будущих зятьев; это неистовое стремление снедало их, всех до одной, в этом салоне, под астматические вздохи фортепиано. Девицы, уставшие от напряжения, задремы-

вали, уронив голову и забыв держаться прямо. Октав пренебрегал этими незрелыми созданиями, его гораздо больше интересовала Валери: эта женщина в своем странном желтом платье с черными атласными вставками была откровенно некрасива, однако его взгляд, боязливый и все-таки замороженный, постоянно обращался к ней; а она, явно взбудораженная этой сумбурной музыкой, смотрела в пустоту с какой-то странной, безумной улыбкой.

И тут произошло неожиданное. Из передней донесся звонок, и в комнату бесцеремонно вошел новый гость.

– Ах, это вы, доктор! – воскликнула госпожа Жоссеран с плохо скрываемой злостью.

Доктор Жюйера жестом извинился за вторжение и замер на месте. В этот момент Берта в замедленном темпе, пианиссимо, сыграла пассаж, который общество наградило лстивым шепотом. Ах, это очаровательно! Изумительно! Мадам Жюзер буквально млела от восторга. Ортанс, которая переворачивала ноты, стоя рядом с сестрой, бесстрастно переживала этот поток дифирамбов, чутко вслушиваясь в тишину передней – не прозвучит ли там звонок, – а когда вошел доктор, от разочарования нечаянно надорвала страницу нот на пюпитре. Но вот внезапно пианино вновь содрогнулось под пальцами Берты, молотившими по клавишам: поэтичная мелодия завершилась бурным каскадом громких аккордов.

Наступила нерешительная пауза. Слушатели стряхивали с себя дрему, еще не понимая, закончилась ли пьеса. Потом разразилась буря аплодисментов.

– Очаровательно! Какой талант!

– Да, мадемуазель и впрямь первоклассная исполнительница! – воскликнул Октав, оторванный от своих наблюдений за аудиторией. – Никогда еще я не получал такого удовольствия.

– Не правда ли? – восторженно вскричала госпожа Жоссеран. – Должна признать, что она весьма недурно с этим справилась... Ах, боже мой, мы ведь ни в чем и никогда не отказывали нашей дорогой девочке, нашему сокровищу! И все таланты, которые ей захотелось развить, она развила... О, если бы вы знали ее поближе...

Гостиную снова заполнил нестройный хор голосов. Берта с полным спокойствием принимала комплименты, но не вставала из-за инструмента, ожидая, когда мать избавит ее от этого тяжелого испытания. А та уже рассказывала Октаву, с каким блеском ее дочь исполняет виртуозный галоп «Жнецы», как вдруг присутствующих испугали глухие удары, все сильнее и сильнее, словно кто-то пытался выломать дверь. Все умолкли, вопросительно глядя на хозяев дома.

– Что это? – испуганно спросила Валери; такие же удары звучали совсем недавно, ближе к концу исполнения пьесы.

Госпожа Жоссеран смертельно побледнела: судя по силе ударов, это ломился в дверь Сатюрнен. Ах, несчастный безумец! Мать уже представляла, как он врывается в комнату и нападает на гостей. Если он продолжит колотить в дверь, еще один жених будет потерян!

– О, это, верно, хлопает дверь в кухне! – воскликнула она с принужденной улыбкой. – Наша Адель никогда ее не закрывает... Иди-ка взгляни, Берта, что там такое.

Девушка тоже сразу поняла причину шума. Она встала и выбежала из комнаты. Удары тотчас прекратились, но она вернулась не сразу. Дядюшка Башляр, который бесцеремонно мешал исполнению «Берегов Уазы» громкими замечаниями, вконец расстроил сестру, крикнув Гелену, что ему надоела эта музыка: теперь пора выпить грогу. После чего они оба вернулись в столовую, с грохотом захлопнув за собой дверь.

– Ах, наш милый Нарсис такой оригинал! – сказала госпожа Жоссеран Валери и мадам Жюзер, сев между этими дамами. – У него только дела на уме! Вы знаете: он ведь заработал в этом году около ста тысяч франков!

Октав, наконец-то освободившись, поспешил подойти к Трюбло, дремавшему на диванчике. Рядом мужчины собрались вокруг доктора Жюйера, всю жизнь практиковавшего в этом квартале, человека заурядного, но в результате долгой практики ставшего опытным врачом, который принимал роды у присутствующих дам и лечил их дочерей. Он специализировался

на женских болезнях, и потому мужья присутствующих дам, желая получить бесплатную консультацию, то и дело уединялись с ним в уголке гостиной. В частности, например, Теофиль поведал ему, что у Валери накануне снова был припадок – она постоянно задыхалась, утверждая, что у нее к горлу подступает комок, – а заодно объявил, что и сам чувствует себя неважно, хотя его недомогание совсем иного рода. И перевел разговор на себя, поведав о собственных горестях. Сперва он изучал право, затем поработал в литейной мастерской, потом в кредитной конторе и, наконец, занялся фотографией; в настоящее время он уверял, что изобрел способ, позволяющий экипажам двигаться без лошадей, ну а пока суд да дело, из чистой любезности помогает одному из друзей сбывать его изобретение – так называемое флейтопьяно. Затем он вернулся к разговору о своей супруге: да, у них все не ладится, но это ее вина, она просто убивает его своими постоянными нервными припадками.

– Доктор, пропишите ей хоть что-нибудь! – умолял он с ненавистью в глазах, кашляя и содрогаясь в безутешном гневе своего бессилия.

Трюбло молча, с презрением смотрел на него, потом с беззвучной ухмылкой перевел взгляд на Октава. Тем временем доктор Жюйера утешал Теофиля общими словами: о, разумеется, он вылечит эту милую даму! В четырнадцать лет, в лавке ее родителей на улице Нёв-Сент-Огюстен, она уже страдала такими приступами удушья, и в ту пору он лечил ее от обмороков, которые кончались носовыми кровотечениями. Но Теофиль в отчаянии вспоминал, что в те времена девушка была куда более кроткой, хотя и недомогала, а теперь она просто терзает его, выдумывая бог весть что, а настроение у нее меняется по двадцать раз на дню. В ответ врач только сокрушенно покачал головой: что делать, замужество помогает далеко не всем женщинам.

– Черт побери! – прошептал Трюбло. – Папаша, который тридцать лет торговал иголками и нитками; мамаша с ее прыщавой физиономией, лавка – затхлая конура в старом Париже; ну откуда же там взяться здоровым дочерям?!

Октав слушал их с удивлением. Он уже начал презирать эту гостиную, куда поначалу вошел с робким восторгом провинциала. Но в нем проснулось любопытство, когда он заметил, что Кампардон, в свой черед, советуется с врачом, только совсем тихо, как разумный человек, не желающий никого посвящать в перипетии своего брака.

– А кстати, раз уж вы знаете этих людей, – спросил он у Трюбло, – объясните мне, от какой болезни страдает госпожа Кампардон?.. Я заметил, что все тут говорят о ней с сочувствием.

– Ах, дорогуша, – откликнулся тот, – да у нее просто...

И он шепотом, на ухо, ответил Октаву. Пока тот слушал, на его лице сперва мелькнула усмешка, потом растерянность, и наконец он изумленно спросил:

– Да может ли это быть?..

Но Трюбло поклялся, что это чистая правда. Он знает еще одну даму, оказавшуюся в таком же положении.

– Впрочем, – заключил он, – иногда бывает, что после родов...

И он снова перешел на шепот. Октав, убежденный его доводами, приуныл. Он-то воображал, что здесь его ждет романтическое приключение, а на самом деле архитектор, заводивший интрижки на стороне, предоставил ему право развлекать супругу, зная, что в любом случае ничем не рискует. И теперь молодые люди болтали друг с другом как сообщники, возбужденно перебирая интимные качества женщин и не заботясь о том, что их могут подслушать.

Как раз в ту же минуту мадам Жюзер делилась с хозяйкой салона впечатлениями об Октаве. Она находила его очень приличным молодым человеком и, без сомнения, подходящим женихом, но все же отдавала предпочтение господину Огюсту Вабру. А тот молча стоял в углу гостиной, страдая от ежевечерней мигрени и сознания своего ничтожества.

– Меня удивляет, моя милая, что вы не считаете господина Муре подходящим для вашей Берты. У этого молодого человека хорошее положение, он так рассудителен. И теперь ему нужна жена – я наверное знаю, что он хочет вступить в брак.

Госпожа Жоссеран с удивлением слушала ее. Она и в самом деле не думала об этом торговце новинками как о женихе. А Жюзер упорно гнула свою линию: невзирая на собственные горести, она обожала устраивать счастье других женщин и потому вникала во все сердечные истории этой семьи. Она утверждала, что Огюст не сводит глаз с Берты. Однако тут же объявила, сославшись на свое знание мужчин, что господин Муре не даст себя женить, тогда как милый господин Вабр – человек весьма сговорчивый, а главное, солидный. Тем не менее госпожа Жоссеран, обмерив этого последнего зорким взглядом, решительно объявила, что такой зять никак не украсит ее салон.

– Моя дочь терпеть его не может, – добавила она. – А я никогда не пойду против ее воли.

Какая-то долговязая тощая девица сыграла на пианино «фантазию на темы» из оперы «Белая дама». Поскольку дядюшка Башляр заснул в столовой, Гелен исполнил на своей флейте мелодию, имитирующую соловьиные трели. Впрочем, его никто не слушал: все присутствующие сплетничали о Бонно. Жоссеран был потрясен, прочие отцы воздымали руки, матери задыхались от возмущения. Как?! Оказывается, зять Бонно был клоуном?! Кому же после этого верить? – в ужасе вопрошали родители, мечтавшие пристроить дочерей; им уже мерещились зятя – бывшие каторжники в черных фраках. А дело объяснялось очень просто: Бонно был так рад пристроить наконец дочь, что удовольствовался скудными сведениями о женихе, несмотря на всю свою осторожность и опыт.

– Матушка, чай подан! – объявила Берта, распахивая вместе с Адель двери в столовую.

И пока гости медленно проходили туда, она шепнула матери:

– Ну, не могу больше!.. Он хочет, чтобы я сидела подле него и рассказывала сказки, а иначе грозитя все разнести вдребезги!

В столовой, на вытертой, далеко не белой скатерти уже был заботливо сервирован чай; вокруг бриоши, купленной в соседской булочной, были разложены птифуры и бутерброды. Зато на обоих концах стола красовались роскошные дорогие розы, искупавшие своей пышностью лежалое масло и черствые бисквиты. Гости восторженно заахали, скрывая проснувшуюся зависть: нет, решительно, эти Жоссераны лезут из кожи вон, лишь бы выдать замуж дочерей! И все они, завистливо поглядывая на букеты, жадно пили скверный чай и неосторожно набрасывались на черствые бисквиты и непеченную бриошь: после скудного ужина все только и мечтали о том, как улягутся спать с полным желудком. Тем из гостей, что не любили чай, Адель подавала смородиновый сироп в стаканчиках. Его восторженно хвалили.

Тем временем дядюшка храпел в углу комнаты. Его не стали будить и сделали вид, будто не замечают старика. Одна из дам заговорила о том, как утомительна торговля. Берта хлопотала, предлагая гостям тартинки, поднося чашки с чаем, спрашивая у мужчин, не добавить ли им сахару. Но ей было не охватить всех, и госпожа Жоссеран оглянулась в поисках Органс. Наконец она увидела старшую дочь в углу опустевшей гостиной; девушка разговаривала с каким-то мужчиной.

– Ах вот он, голубчик! – не сдержавшись, пробормотала госпожа Жоссеран. – Наконец-то пожаловал!

Гости зашептались. Это был тот самый Вердье, что вот уже пятнадцать лет жил с любовницей, но собирался жениться на Органс. Все присутствующие знали его историю; правда, девицы только молча переглядывались, но и остальные также воздерживались от сплетен из почтения к хозяевам. Октав, которого посвятили в суть дела, с интересом смотрел ему в спину. Трюбло был знаком с любовницей Вердье, бывшей уличной девкой, которая, по его словам, давно остепенилась и вела себя куда пристойнее многих добропорядочных дам: заботливо обихаживала своего сожителя, следила за чистотой его гардероба; он относился к ней

с чисто дружеской симпатией. Гости внимательно наблюдали из столовой за этой парой: Органс бурно, с озлоблением непорочной и строго воспитанной девицы, упрекала Вердые за опоздание.

– Надо же, смородинный сироп! – воскликнул Трюбло, увидев рядом с собой Адель, державшую поднос со стаканчиками.

Однако, понюхав сироп, отказался. Но пока служанка поворачивалась, сидевшая рядом толстая дама толкнула ее локтем, прижав к нему, и он свирепо ущипнул ее за ляжку. Адель, ухмыльнувшись, снова протянула ему поднос.

– Нет-нет, благодарю! – громко сказал он. – Не сейчас, после.

Дамы сидели вокруг стола, а мужчины ели, стоя за их стульями. Всеобщее оживление слегка улеглось, радостные возгласы постепенно стихали, рты были заняты едой. Начали звать запоздавших мужчин. Госпожа Жоссеран воскликнула:

– Ах, боже мой, о чем я только думала... Взгляните, господин Муре, вы ведь так любите искусство!

– Берегитесь, – шепнул ему Трюбло, хорошо изучивший обычаи этого дома, – сейчас вас будут прельщать акварелью!

Однако это была не акварель, а нечто иное. На столе как бы случайно оказалось фарфоровое блюдо на новенькой блестящей бронзовой подставке, с изображением «Девы над разбитым кувшином»<sup>1</sup>, в бледных тонах от светло-лилового до небесно-голубого. Берта польщенно улыбалась в ответ на похвалы гостей.

– О, мадемуазель прямо-таки блистает талантами, – великодушно сказал Октав. – Такие нежные краски, а главное, как верно схвачено!

– Да, что касается рисунка, я отвечаю за точность! – торжествующе подхватила госпожа Жоссеран. – Тут ни прибавить, ни убавить... Правда, Берта скопировала это с гравюры, а не с самой картины. В Лувре слишком много обнаженной натуры, да и народ там всякий толчется...

Говоря это, она понизила голос, желая внушить молодому человеку, что ее дочь, пусть и даровитая художница, никогда не опустится до неприличия. Впрочем, Октав, вероятно, показался ей слишком хладнокровным, она чувствовала, что не достигла цели, и начала поглядывать на него с подозрением; тем временем Валери и мадам Жюзер, пившие уже по четвертой чашке чая, восторженно ахали, любуясь этой росписью.

– А вы все еще интересуетесь *этой*, – шепнул Трюбло Октаву, заметив, как пристально тот разглядывает Валери.

– Да... верно, – ответил тот слегка смущенно. – Как странно, она сейчас так хороша. И сразу видно, что это страстная натура... Как вы думаете, мне стоит рискнуть?

Трюбло надул щеки:

– Пылкая? Да разве так сразу определишь?... Станный у вас вкус! В любом случае это будет получше, чем жениться на малютке.

– На какой малютке? – забывшись, вскричал Октав. – Неужто вы думаете, что я так просто дам себя взнуздать? Да никогда в жизни! Мы, марсельцы, не женимся, милый мой!

В этот момент к ним подошла госпожа Жоссеран, и услышанное поразило ее в самое сердце. Еще одна проигранная битва! Еще один потерянный вечер! Удар был таким жестоким, что ей пришлось опереться на спинку стула, и ее отчаянный взгляд упал на разоренный стол, где от бриоши осталась одна только подгоревшая верхушка. Госпожа Жоссеран пережила много таких поражений, но это было уже чересчур, и она поклялась себе страшной клятвой, что никогда больше не станет кормить людей, которые и приходят-то к ней лишь для того, чтобы набить себе брюхо. Так она и стояла, потрясенная, убитая, озирая столовую и тщетно

---

<sup>1</sup> «Дева над разбитым кувшином» – картина французского художника Жан-Батиста Грёза (1725–1805).

выискивая среди мужчин того, кому сможет отдать свою дочь. И вдруг заметила Огюста, который робко жался к стене, ничего не взяв со стола.

Как раз в этот момент Берта с улыбкой направилась к Октаву, протягивая ему чашку чая. Она, как послушная дочь, продолжала осаду. Но мать схватила ее за плечо и шепотом обозвала круглой душой.

– Отнеси эту чашку господину Вабру, он ждет уже целый час, – громко сказала она с сияющей улыбкой. А затем прошептала дочери на ухо, грозно сверкая глазами: – И обходись с ним полюбезнее, иначе будешь иметь дело со мной!

Берта пришла было в растерянность, но тут же оправилась: такое порой случалось по несколько раз за вечер. Она поднесла чашку чая Огюсту с улыбкой, предназначавшейся до этого Октаву, и завела с ним любезную беседу о лионских шелках, изображая обходительную особу, которая прелестно выглядела бы за прилавком магазина. У Огюста слегка задрожали руки, он залился краской; этим вечером головная боль терзала его сильнее обычного.

Некоторые гости из вежливости ненадолго вернулись в салон. Они наелись, теперь можно было уходить. Начали искать Вердые, но оказалось, что он уже исчез, и юные девицы с огорчением унесли с собой всего лишь его мимолетный образ со спины. Кампардон не стал ждать Октава и ретировался вместе с врачом, которого еще ненадолго задержал на лестничной площадке, желая выспросить, действительно ли ему больше нечего надеяться на выздоровление жены. Во время чая одна из ламп погасла, распространив по комнате едкий запах гари, а вторая, с чающим фитилем, освещала комнату таким мрачным, потусторонним светом, что даже семейство Вабр встало из-за стола, несмотря на любезности, которые расточала им госпожа Жоссеран. Октав обогнал их в передней, где его ждал сюрприз: Трюбло, надевавший шляпу, бесследно исчез – не иначе как сбежал через кухонный коридор.

– Вот так так, куда же он подевался? Неужто прошел черным ходом? – подивился Октав, но решил не придавать этому значения.

Рядом стояла Валери, искавшая свой крепдешиновый шарф. Братья Теофиль и Огюст, не обращая на нее внимания, уже спускались по лестнице. Молодой человек разыскал шарф и подал ей с той восхищенной улыбкой, с какой обслуживал красивых покупательниц в «Дамском Счастье». Она посмотрела на него, и он мог бы поклясться, что в ее взгляде, устремленном на него, вспыхнул огонек. Но она коротко сказала:

– Вы очень любезны, сударь.

Мадам Жюзер, уходившая последней, одарила их обоих нежной и скромной улыбкой.

А Октав, возбужденный донельзя, вернулся в свою комнату, взглянул в зеркало и сказал себе:

– Черт возьми, а не попытаться ли!

Тем временем госпожа Жоссеран молча бродила в опустевшей, разоренной квартире, по которой будто пронесся жестокий ураган. Она сердито захлопнула крышку пианино, погасила вторую лампу, затем прошла в столовую и начала тушить свечи, дуя на них так свирепо, что дрожали подсвечники. Вид разоренного стола с грудями пустых тарелок и чашек усугубил ее раздражение; она ходила вокруг него, бросая разъяренные взгляды на старшую дочь: Органс сидела, спокойно доедая подгоревшую корку бриоши.

– Ты снова злишься, мама, – сказала девушка. – Что случилось, опять не повезло?.. Лично я очень довольна. Он покупает *ей* рубашки, лишь бы выдворить ее из дому.

Мать молча пожала плечами.

– Ну и что? Ты хочешь сказать, что это ничего не доказывает? Ладно, устраивай свои дела, а я уж сама устрою свои... Господи, до чего же мерзкий вкус у этой сдобы! Не знаю, какими неразборчивыми нужно быть, чтобы наесться подобной мерзостью!

Жоссеран, которого вконец изнурили «суаре» жены, рухнул было на стул, но, побоявшись, что она выместит на нем свою ярость, придвинулся к Башляру и Гелену, сидевшим

напротив Ортанс. Дядюшка уже очнулся от дремоты, обнаружил рядом с собой бутылочку рома и осушил ее, с горечью вспоминая о двадцати франках:

– Меня огорчила не столько потеря денег, сколько это нахальство... Ты же знаешь, как я отношусь к женщинам, – последнюю рубашку готов им отдать, но терпеть не могу, когда у меня вымогают деньги... Стоит кому-то начать клянчить, как я прихожу в ярость, и от меня гнилой редиски не получишь.

Однако едва сестра собралась напомнить ему о данном обещании, как он раскричался:

– Помалкивай, Элеонора! Я сам знаю, что должен сделать для малышки... Но пойми одно: когда женщины выпрашивают деньги, это сильнее меня, ни одна из них у меня не задержалась, верно, Гелен?.. И потом, отчего меня здесь третируют? Леон даже не соизволил поздравить меня с именинами!

Госпожа Жоссеран, сжав кулаки, снова зашагала по комнате. Он прав: ох уж этот Леон... чего только не обещал, а бросил ее, как и все остальные. Вот уж кто не пожертвовал бы вечером ради того, чтобы выдать замуж своих сестер! Но тут она заметила пतिфур, свалившийся с блюда, и припрятала его в ящик буфета. Берта выпустила Сатюрнена из заточения и привела в столовую. Она успокаивала брата, а тот лихорадочно метался из стороны в сторону, подозрительно оглядывая и чуть ли не обнюхивая все углы, с усердием собаки, слишком долго просидевшей взаперти.

– Вот дурачок! – говорила Берта. – Воображает, будто меня отдали замуж. И теперь ищет «мужа»! Давай-давай, бедняга Сатюрнен, можешь искать сколько угодно... Я же тебе говорила, что свадьба расстроилась! Ты ведь прекрасно знаешь, что свадьбы всегда устраиваются.

Но тут ее мать взорвалась:

– Ну так вот: я вам обещаю, что на сей раз она не расстроится, хотя бы мне пришлось притащить сюда жениха на аркане! И пускай он расплачивается за всех остальных. Да-да, так и будет, дорогой супруг, и нечего на меня пялиться и делать вид, будто вы не понимаете; этот брак состоится даже без вашего согласия, пусть жених и не придется вам по нраву... Слышишь, Берта, тебе нужно только нагнуться и подобрать этого голубчика!

А Сатюрнен как будто не слышал ее: теперь он заглядывал под стол. Девушка указала на него матери, но та лишь отмахнулась, давая понять, что сына по такому случаю спрячут подальше. И Берта прошептала:

– Значит, решено – это господин Вабр? Ну и ладно, какая разница?! Жаль только, что мне ничего не оставили поесть!



## IV

На следующий же день Октав приступил к обольщению Валери. Он разузнал все ее привычки, время, когда мог встретить ее на лестнице, и чаще обычного поднимался к себе в комнату, пользуясь тем, что ходил ужинать к Кампардонам, или под каким-нибудь предлогом сбега ненадолго из «Дамского Счастья». Вскоре он установил, что молодая женщина водит своего ребенка в Тюильри и около двух часов дня проходит по улице Гайон. Теперь в это время он появлялся на пороге магазина и, дождавшись ее появления, приветствовал одной из своих обаятельных улыбок дамского угодника. Валери всякий раз отвечала ему вежливым кивком, но никогда не останавливалась, хотя он видел огонек страсти, таившийся в ее черных глазах, и находил поощрение своим авансам в ее бледности и грациозном покачивании стана. У него давно уже составилась план – дерзкий план опытного соблазнителя, привыкшего к легким победам над добродетелью юных продавщиц. Оставалось всего лишь заманить Валери к себе в комнату на пятом этаже; парадная лестница об эту пору была пуста, наверху их там никто не застанет, и Октав уже заранее посмеивался над высокоморальными запретами архитектора приводить к себе женщин с улицы: к чему такие хлопоты, если можно овладеть какой-нибудь из них, не выходя из дому?!

Однако было одно затруднение, беспокоившее Октава. Кухня Пишонов располагалась через коридор от их столовой, что заставляло хозяев постоянно держать дверь открытой. В девять часов утра муж уходил в свою контору и возвращался только к пяти вечера, а по четным будним дням он еще занимался своими конторскими книгами после ужина, с восьми часов до полуночи. Впрочем, молодая женщина, стеснительная и нелюдимая, заслышав шаги Октава, всякий раз захлопывала свою дверь, и он едва успевал разглядеть, да и то лишь со спины, ее фигуру и блеклые волосы, стянутые в крошечный пучок. Иногда он успевал заметить в дверную щель дешевую, но чистенькую мебель, белые занавески, казавшиеся серыми в тусклом свете, сочившемся из окна, которое Октав не мог видеть из коридора, и детскую кроватку в глубине второй комнаты – словом, все, что составляло монотонное существование женщины, которая с утра до вечера неукоснительно выполняла одни и те же семейные обязанности. И никогда ни звука; ребенок казался таким же тихим и вялым, как его мать; лишь изредка из комнаты доносилась монотонная мелодия, которую мадам Пишон напевала часами, слабеньким, еле слышным голосом. Но Октав буквально возненавидел эту «глупую курицу», как он ее называл. Ему казалось, что она за ним шпионит. Во всяком случае, ясно было, что Валери никогда не сможет подняться к нему, если дверь Пишонов будет вот так постоянно отворена.

Впрочем, он полагал, что дела его не так уж плохи. Однажды в воскресенье, когда муж Валери отсутствовал, Октав успел сойти на площадку второго этажа в тот момент, когда молодая женщина в халате вышла из квартиры своей невестки; ей поневоле пришлось задержаться около него на несколько минут, и они обменялись несколькими любезными словами. Теперь он надеялся в следующий раз попасть в ее квартиру. А дальнейшее не представит трудности с женщиной такого темперамента.

В тот вечер, за ужином у Кампардонов, Октав завел разговор о Валери – он надеялся разузнать о ней побольше у хозяев. Но поскольку их беседа проходила в присутствии Анжель, которая бросала мрачные взгляды на Лизу, пока та с непроницаемым видом подавала запеченную баранью ногу, супруги сперва рассыпались в похвалах этой семье. Заодно архитектор снова начал восхвалять респектабельность всего их дома с таким тщеславным пылом, словно это укрепляло его личную репутацию.

– Эти Вабры, милый мой, весьма почтенные люди... Вы ведь видели их у Жоссеранов. Муж – человек неглупый, у него полно всяческих идей, и в конце концов он подыщет себе

какое-нибудь дельце повыгоднее. Что же касается жены, то в ней есть особый шарм, как выражаемся мы, художники.

Госпожа Кампардон, которой со вчерашнего дня нездоровилось сильнее обычного, полулежала в кресле; впрочем, страдания не мешали ей поедать большие куски слабопрожаренного, сочащегося кровью мяса. Она плаксиво шептала в свой черед:

– Ах, этот бедный господин Теофиль... он страдает совсем как я и точно так же еле таскает ноги... И все-таки Валери – хорошая жена: ну легко ли бесконечно терпеть рядом с собой человека, которого треплет лихорадка; из-за этой болезни он всегда и обращается с ней так грубо и бесцеремонно...

За десертом Октав, сидевший между архитектором и его женой, узнал больше, чем надеялся. Забыв о присутствии Анжель, супруги говорили прозрачными намеками, подчеркивая скрытый смысл многозначительными взглядами, а когда не могли подыскать приличное слово, наклонялись к собеседнику и шептали непристойности на ухо. Их разговор сводился к тому, что Теофиль – кретин и импотент, сполна заслуживший то, во что превратила его жена. Что же касается Валери, то она ничуть не лучше мужа и вела бы себя так же скверно, даже если бы супруг ее удовлетворял, – такая уж у нее натура. В их квартале всем известно, что через два месяца после свадьбы, убедившись, что от мужа ей никогда не забеременеть, и побоявшись лишиться своей части наследства от старика Вабра, если Теофиль умрет, она родила малыша Камиля от приказчика мясной лавки с улицы Сент-Анн.

В заключение Кампардон шепнул на ухо Октаву:

– Словом, настоящая истеричка, вот так-то, милый мой!

В его словах звучало чисто буржуазное упоение чужой непристойностью, плотоядная ухмылка отца семейства, чье воображение, вырвавшись на свободу, тешится картинами чужого разврата. Анжель уткнулась в тарелку, стараясь не смотреть на Лизу, чтобы не засмеяться, словно она подслушала разговор родителей. Однако собеседники сменили тему, заговорив о семье Пишон, и вот тут-то они не поскупились на похвалы.

– О, это такие милые люди! – твердила госпожа Кампардон. – Когда Мари вывозит на прогулку свою Лилит, я иногда позволяю ей брать с собой нашу Анжель. А уж вы можете не сомневаться, господин Муре, что я не доверю свою дочь кому попало, я должна быть абсолютно убеждена в порядочности такого человека... Ты ведь очень любишь Мари, не правда ли, Анжель?

– Да, мама, – ответила девочка.

Тут последовали и другие подробности. Трудно найти более воспитанную женщину, с такими строгими правилами. Так стоит ли удивляться тому, что ее муж совершенно счастлив?! Эта молодая пара так мила, так скромна, они обожают друг друга, и ни от него, ни от нее никогда не услышишь резкого слова!

– Впрочем, им и не позволили бы жить в нашем доме, если бы они вели себя дурно, – важно заявил архитектор, начисто забывший свои сплетни насчет Валери. – Мы хотим, чтобы здесь, рядом с нами, обитали только порядочные люди... Честное слово, я тут же отказался бы от квартиры, если бы моей дочери грозило встречаться на лестнице с сомнительными особами.

В тот вечер Кампардон собирался тайком повести кухню Гаспарину в «Опера́ Коми́к». Поэтому сразу после ужина он поспешил в переднюю за шляпой, объявив, что у него важное дело, которое задержит его допоздна. Тем не менее Роза, вероятно, знала правду: когда ее супруг подошел к ней, чтобы поцеловать с обычной нежностью, Октав услышал, как она шепнула с привычной, материнской нежностью:

– Приятного вечера, дорогой, и смотри не простудись, когда выйдешь на улицу.

На следующий день Октаву пришла в голову мысль: а не завязать ли ему дружбу с мадам Пишон, оказывая ей услуги, как положено добрым соседям; таким образом, если она когда-нибудь углядит Валери на их этаже, то закроет на это глаза. И в этот же день ему представился удобный случай. Госпожа Пишон собиралась на прогулку с Лилит, которой было полтора

года; она посадила дочку в плетеную ивовую коляску, неизменно вызывавшую недовольство Гура: консьерж был решительно против того, чтобы коляску возили по парадной лестнице, ее надлежало спускать и поднимать только по черной. На беду, дверь, ведущая в коридор, была слишком узкой, и приходилось каждый раз снимать с коляски ручку и колесики, а это была работа не из легких. Как раз в тот день Октав, вернувшийся из магазина, увидел на лестничной площадке соседку, которая никак не могла отвинтить колесики, – в перчатках ей было трудно с ними справиться. Увидев, что позади стоит мужчина, ожидающий, когда она освободит проход, бедная женщина совсем растерялась; у нее затряслись руки.

– Сударыня, стоит ли вам так мучиться с этой коляской? – спросил наконец Октав. – Гораздо проще было бы поставить ее в глубине коридора, за моей дверью.

Женщина, онемевшая от робости, не ответила; она так и сидела на корточках, не в силах подняться. Октав увидел, что ее лицо под шляпкой, шею и уши заливают горячий румянец. Он настойчиво повторил:

– Уверю вас, сударыня, меня это нисколько не стеснит.

Вслед за чем, не ожидая ответа, поднял коляску и легко, без усилий, внес ее в коридор. Ей поневоле пришлось идти следом, но она была так смущена, так напугана этим происшествием, столь необычным в ее серенькой повседневной жизни, что позволила ему действовать, несвязно лепеча только:

– О боже мой, сударь, вы слишком любезны... Мне так неловко вас затруднять... Мой муж будет очень доволен...

Затем она вошла к себе в комнату и на сей раз плотно прикрыла за собой дверь, словно чего-то стыдилась. Октав подумал: а ведь она глуповата. Коляска очень стесняла его, мешая распахнуть дверь комнаты: теперь ему приходилось протискиваться к себе через узкую щель. Зато соседку он, видимо, покори́л, тем более что Гур из уважения к влиятельному жильцу – Кампардону – милостиво согласился с этим неудобством, позволив держать коляску в темном углу коридора.

По воскресным дням родители Мари – супруги Вьюм – приходили к ним в гости на целый день. В следующее воскресенье Октав, выйдя из своей комнаты, увидел все семейство за столом: они пили кофе. Он ускорил было шаг, стараясь незаметно пройти мимо их двери, но тут молодая женщина нагнулась к мужу, что-то шепнула ему на ухо, и тот поспешно встал с места со словами:

– Господин Муре, прошу меня простить, я мало бываю дома и еще не успел вас поблагодарить. Не могу выразить, как я был бы счастлив...

Октав тщетно отказывался от приглашения – в конечном счете ему все же пришлось войти. И хотя он уже выпил кофе, ему буквально навязали еще одну чашку. В знак глубокого уважения гостя посадили между господином и госпожой Вьюм. Напротив, по другую сторону круглого стола, сидела Мари, до того сконфуженная, что ее лицо то и дело вспыхивало ярким румянцем. Октав взглянул на нее повнимательней: никогда еще она не выглядела такой довольной. Однако, как сказал бы Трюбло, это был не его идеал: несмотря на красивые, тонкие черты лица, она показалась ему неказистой – плоская фигура, жидкие волосы... Постепенно освоившись с гостем, Мари начала со смехом вспоминать эпизод с коляской – эта тема ей не надоедала.

– Ах, Жюль, если бы ты видел, как господин Муре занес ее, прямо на руках... О, ну просто в один миг, я и опомниться не успела!

Пишон снова рассыпался в благодарностях. Это был высокий худой малый болезненного вида, уже ссутулившийся от бесконечного сидения в конторе; в его блеклых глазах застыло покорное, тупое выражение, как у цирковой лошади.

– О, прошу вас, не будемте больше говорить об этом! – взмолился наконец Октав. – Поверьте, оно того не стоит... Мадам, у вас замечательный кофе, я никогда еще такого не пил.

Мари снова залилась румянцем, у нее порозовели даже руки, не только лицо.

– Вы ее испортите своими похвалами, – важно заметил господин Вьюом. – Кофе у нее, конечно, хорош, но я пивал и получше. Посмотрите, как она возгордилась!

– Гордость – плохая черта! – объявила мадам Вьюом. – Мы всегда приучали нашу дочь к скромности.

Супруги Вьюом, низкорослые и сухощавые, с поблекшими, серыми лицами, выглядели совсем дряхлыми; жена носила тесное черное платье, муж был одет в поношенный редингот, на котором выделялась ярко-красная орденская розетка.

– Знаете, – продолжал старик, – я получил эту награду в возрасте шестидесяти лет, в день моей отставки, после того как тридцать девять лет отработал младшим письмоводителем в Министерстве народного образования. Так вот, заметьте: в тот вечер я отужинал ровно так же, как и во все предыдущие дни, и даже это отличие не заставило меня изменить своим привычкам... Я честно заслужил свою награду, знал это и чувствовал одну только благодарность.

Вся жизнь старика была как на ладони, и ему хотелось, чтобы об этом знали. После двадцати пяти лет усердной службы он получал четыре тысячи франков в год. Таким образом, его пенсия составила две тысячи. Однако ему пришлось продолжать работать в качестве экспедитора, с жалованьем полторы тысячи франков, так как у них родилась Мари; девочка появилась на свет очень поздно, когда мадам Вьюом уже и не надеялась иметь детей. И теперь, когда старики пристроили дочь, они жили на эту пенсию, экономя каждый грош, на улице Дюрантен, на Монмартре, где все было дешевле, чем в центре города.

– Мне уже семьдесят шесть лет, вот так-то! – объявил он в заключение. – А это мой зять, прошу любить и жаловать!

Пишон молча, с усталым видом, смотрел на тестя и его награду. Да, такой же будет и его история – если, конечно, повезет. Он был младшим сыном владелицы фруктовой лавки, которая продала ее, чтобы сын мог получить степень бакалавра, поскольку весь их квартал считал юношу очень способным; мать умерла в бедности, за неделю до того, как он получил диплом бакалавра в Сорбонне. После трехлетней жизни впроголодь в лавке дяди ему несказанно повезло попасть на службу в министерство, где у него были хорошие виды на будущее; к тому времени он уже был женат.

– Человек выполняет свой долг, а правительство свой, – пробормотал он, мысленно прикинув, что ему осталось проработать еще тридцать шесть лет, прежде чем удастся получить такую же награду и две тысячи франков пенсии, как у тестя. Затем он обратился к Октаву: – Видите ли, дети... они обходятся дорого.

– Верно, – подхватила мадам Вьюом. – Будь у нас еще один ребенок, мы никогда не свели бы концы с концами... Вспомните, Жюль, какое условие я поставила, отдавая за вас Мари: только один ребенок, не больше, иначе мы поссоримся!.. Это только рабочие плодят детей, как куры цыплят, не беспокоясь о том, как их прокормить. Впрочем, они попросту выставляют ребятишек на улицу, где эти несчастные бродят, как дикие звери, – не могу смотреть на них без отвращения!

Октав взглянул на Мари, полагая, что такая деликатная тема заставит ее стыдливо покраснеть. Но нет, ее лицо осталось таким же бледным, и она с простодушием невинной девушки кивала, слушая рассуждения матери. Ему стало смертельно скучно, но он не знал, каким образом сбежать отсюда. Эти люди, сидевшие в тесной, холодной столовой, привыкли проводить так послеобеденное время, обмениваясь каждые пять минут тягучими рассуждениями, посвященными только их делам. Даже игра в домино казалась им слишком азартной.

Госпожа Вьюом продолжала излагать свои соображения. После долгого молчания, которое ничуть не смутило остальных членов семьи, как будто им нужна была пауза, чтобы привести в порядок мысли, она заговорила снова:

– У вас ведь нет детей, господин Муре? Но когда-нибудь они будут... Ах, вы не представляете, какая это тяжкая ответственность, особенно для матери! Взять хоть меня: когда я родила эту малышку, мне было уже сорок девять лет, а в этом возрасте женщина, к счастью, умеет себя вести. Мальчики – они растут сами по себе, но воспитать девочку!.. Слава богу, мне удалось выполнить свой материнский долг, да, удалось!

И она принялась вкратце излагать свою систему воспитания. Во-первых, пристойное поведение. И никаких игр на лестнице – малышка должна находиться дома, под строгим надзором, ведь у этих девчонок только дурное на уме. Двери должны быть заперты, окна наглухо закрыты, никаких сквозняков, ничего, что приносит с улицы всякие мерзости. На прогулках нужно крепко держать ребенка за руку, приучать девочку ходить с опущенными глазами, чтобы избавить ее от всяких непристойных зрелищ. Не злоупотреблять религиозным воспитанием – ребенок должен получать ровно столько, чтобы это служило ему моральным тормозом. Затем, когда девочка вырастет, нанимать ей домашних учительниц, никоим образом не отдавая ее в пансион, – эти заведения развращают даже самые невинные души; более того, присутствовать на домашних уроках, следить за тем, чтобы она не услышала чего-нибудь недозволенного; разумеется, прятать от нее газеты и не допускать в библиотеку.

– Нынешние девушки и без того узнают слишком много лишнего! – заключила старая дама.

Пока мать разглагольствовала, Мари сидела, устремив взгляд в пространство. Ей вспоминалась тесная, уединенная квартирка на улице Дюрантен, узкие комнаты, где ей не разрешали даже подходить к окну. До замужества ее жизнь представляла собою длинное, нескончаемое детство со сплошными запретами, смысла которых она не понимала, с зачеркнутыми строчками в модных журналах (эти черные линии заставляли ее краснеть) и текстами уроков с великим множеством купюр, которые приводили в недоумение даже самих учительниц, когда она начинала их расспрашивать. Впрочем, детство это было вполне мирным, подобным ленивой жизни растения в жаркой теплице, где разбуженные мечты и повседневные события вырождались в невнятные, блеклые образы. Вот и сейчас, когда она глядела перед собой, предаваясь воспоминаниям, у нее на губах играла улыбка девочки, сохранившей младенческую невинность даже в браке.

– Вы не поверите, – сказал господин Вьюом, – но наша дочь до восемнадцати лет не прочитала ни одного романа... Не правда ли, Мари?

– Да, папа.

– У меня дома, – продолжал ее отец, – есть один роман Жорж Санд, в прекрасном переплете, и я, невзирая на опасения матери Мари, решил позволить дочери прочесть его за несколько месяцев до ее свадьбы. Это «Андре»<sup>2</sup>, совершенно безобидное сочинение, полностью вымышленная история, очень полезная для духовного развития... Лично я стою за либеральное образование. Литература, несомненно, имеет свои права на существование... И вот эта книга, сударь, произвела на мою дочь потрясающее впечатление. Она даже плакала по ночам, во сне: вот вам доказательство того, что только чистые, неиспорченные души способны понять гения.

– Ах, это так прекрасно! – прошептала молодая женщина; у нее даже заблестели глаза.

Но когда господин Пишон изложил свое кредо – никаких романов до свадьбы, все романы только после свадьбы, – его супруга покачала головой. Лично она никогда ничего не читала и прекрасно жила без этого. Но тут Мари робко заговорила о своем одиночестве:

---

<sup>2</sup> «Андре» (1835) – роман Жорж Санд, посвященный истории любви молодого дворянина Андре и очаровательной молодой девушки Женевьевы, которая зарабатывает на жизнь, делая искусственные цветы. Влюбленный Андре становится учителем Женевьевы, открывает ей науки и поэзию, однако не способен противостоять воле сурового отца, который резко восстает против выбора сына.

– Ах, боже мой, я иногда открываю какую-нибудь книжку. Правда, их выбирает для меня Жюль в библиотеке пассажа Шуазель... Если бы еще я могла играть на фортепиано!

Октав, который давно уже собирался вставить слово в эту беседу, воскликнул:

– Как, неужели вы не играете на фортепиано?!

Наступила неловкая пауза. Потом родители заговорили о череде тягостных обстоятельств, не желая признаться, что попросту испугались расходов на музыку. Впрочем, госпожа Вьюм утверждала, что Мари пела чуть ли не с пеленок и даже в детстве знала множество прелестных романсов; ей достаточно было хоть раз услышать мелодию, и она ее тут же запоминала; в доказательство мать привела песню об Испании, где пленная дева тосковала о своем возлюбленном: малышка исполняла ее так трогательно, что вызывала слезы даже у самых черствых слушателей. Однако сама Мари выглядела печальной и не смогла удержать крик души, указав на дверь соседней комнаты, где спала ее дочка:

– Ах, я непременно буду учить Лилит играть на фортепиано, чего бы мне это ни стоило!

– Ты сперва подумай о таком же воспитании, какое мы дали тебе, – строго сказала госпожа Вьюм. – Я, конечно, не против музыки – она пробуждает благородные чувства. Однако прежде всего ты должна зорко следить за дочерью, ограждать ее от всех вредных влияний, стараться, чтобы она сохранила детскую невинность...

Старая дама неустанно поучала дочь, особенно подчеркивая благое влияние религии, указывая, сколько раз в месяц положено ходить на исповедь, какие мессы необходимо посещать – словом, делать все, что необходимо, ради благопристойности. Вот тут-то Октав, которому до смерти наскучила эта беседа, «вспомнил» о назначенной встрече и объявил, что ему пора идти. У него гудела голова от этих нудных рассуждений, и он предвидел, что они продолжатся до конца вечера. Словом, он сбежал, оставив супругов Вьюм и Пишон за столом, где они, верно, собирались и дальше вести все те же беседы, что и каждое воскресенье, неспешно попивая кофе. Когда он уже откланивался, Мари вдруг, без всякой причины, залилась краской.

С того дня Октав по воскресеньям старался поскорее проскользнуть мимо двери соседей, особенно когда из-за нее доносились дребезжащие голоса супругов Вьюм. Впрочем, его мысли были целиком заняты победой над Валери. Увы, несмотря на пламенные взгляды, которые, как воображал Октав, предназначались ему, она держалась с ним необъяснимо холодно, что он расценивал как бессердечное кокетство. Однажды днем он по чистой случайности встретил ее в саду Тюильри, и она спокойно заговорила с ним о вчерашней грозе; это окончательно убедило его, что она хитрая, опытная кокетка. А потому Октав постоянно торчал теперь на лестнице, надеясь улучшить момент и вторгнуться в ее квартиру, где решил вести себя напористо и грубо.

Зато Мари теперь при каждой встрече улыбалась ему и краснела. Они только здоровались как добрые соседи. Однажды утром ему пришлось подняться, чтобы передать ей письмо по просьбе консьержа, которому не хотелось затруднять себя восхождением на пятый этаж, и он застал Мари в полной растерянности: она усадила Лилит в одной сорочке на круглый стол и пыталась ее одеть.

– Что у вас тут случилось? – спросил молодой человек.

– Да вот никак не справлюсь с малышкой, – ответила Мари. – Она капризничала, и я по глупости вздумала переодеть ее. А теперь прямо не знаю, что делать, ничего не получается!

Октав удивленно взглянул на нее. Она вертела в руках детскую юбочку, ища застежки. Потом объяснила:

– Понимаете, обычно ее отец по утрам, перед уходом, помогает мне одевать дочку... Потому что я сама никак не могу разобраться в ее одежках. Мне это неприятно, я раздражаюсь...

Тем временем малышка, уставшая сидеть в одной рубашке и напуганная видом Октава, опрокинулась на стол, барахтаясь и отбиваясь от матери.

– Осторожно, она упадет! – крикнул Октав.

Это была настоящая катастрофа. Мари словно остолбенела, не смея дотронуться до ребенка; она смотрела на дочку с изумлением девственницы, не понимавшей, откуда та взялась. Казалось, она боится повредить ей что-нибудь, и в ее неловкости чувствовалось смутное отвращение к этому живому детскому тельцу. Однако с помощью Октава, который ее успокаивал, ей все же удалось одеть Лилит.

– Как же вы будете справляться, когда у вас будет дюжина детей? – со смехом спросил он.

– Нет-нет, у нас их больше не будет, – испуганно ответила она.

Однако он стал подшучивать над ней: напрасно она так в этом уверена, детишки появляются на свет божий так быстро, только успевай пеленать!

– Нет, ни за что! – упрямо твердила Мари. – Вы ведь слышали, что тогда сказала мама. Она строго запретила моему мужу... Вы ее плохо знаете: если у нас родится еще один, она будет устраивать скандал за скандалом.

Октава позабавило то, что она так уверенно это утверждает. Он побудил ее к откровенности, но это ее ничуть не смутило. Впрочем, она послушно исполняла все, что захочет муж. Да, разумеется, она любит детей, и, если он пожелает завести ребенка, она не станет возражать. Под этим смирением и готовностью подчиняться приказам угадывалось равнодушные женщины, в которой еще не пробудились материнские чувства. Лилит занимала ее ровно так же, как домашнее хозяйство, которое она вела из чувства долга. Но, вымыв посуду и сходяв с малышкой на прогулку, она вновь погружалась в прежнюю жизнь, в пустое сонное существование, отмеченное смутной надеждой на радость, которая так и не приходила. Когда Октав спросил, не наскучило ли ей постоянное одиночество, Мари очень удивилась: нет-нет, она никогда не скучает, дни проходят сами по себе, так незаметно, что она, ложась спать, даже не может вспомнить, чем нынче занималась. А по воскресеньям они с мужем иногда отправляются на прогулку; потом их навещают родители, и еще она читает. Ах, если бы от чтения у нее не болела голова, она занималась бы этим с утра до вечера – теперь, когда ей позволили читать все, что угодно.

– Самое печальное то, что у них там, в пассаже Шуазель, нет ничего стоящего... Я хотела взять и перечитать «Андре» – когда-то я плакала над этой книгой. Ну так вот: как раз ее-то у них и украли... А свой экземпляр отец мне не дает – боится, что малышка порвет там гравюры.

– Позвольте! – воскликнул Октав. – У моего друга Кампардона есть полное собрание сочинений Жорж Санд. Я попрошу у него для вас «Андре».

Мари залилась краской, у нее радостно вспыхнули глаза. О, как он любезен! И когда Октав ушел, она долго еще стояла перед Лилит, с праздно опущенными руками, без единой мысли – точно так же, как проводила все свои дни, с утра до прихода мужа.

Она терпеть не могла шить и только вязала крючком одно-единственное изделие, которое постоянно валялось неоконченным где-нибудь в комнате.

На следующий день, в воскресенье, Октав принес Мари книгу. Пишона не было дома: он вышел, чтобы оставить поздравительную визитную карточку в доме одного из своих начальников. Войдя к соседке, молодой человек застал ее одетой, после похода в ближайшие лавки, и из чистого любопытства спросил, не ходила ли она к мессе, поскольку считал ее набожной. Она ответила, что нет, в церкви она не была. До замужества мать регулярно водила ее туда. И после свадьбы в первые полгода Мари так же аккуратно посещала службы, ужасно боясь, что опоздает к началу. Затем, сама не зная почему, пропустила несколько месс, и с тех пор ноги ее не было в церкви. Супруг Мари ненавидел священников, и теперь ее мать даже не заговаривала о религии в его присутствии. Тем не менее Мари до сих пор не давали покоя слова

Октава о том, что она скучает, – словно они разбудили в ее душе нечто, казалось бы навсегда похороненное под ленивым спокойствием ее нынешнего существования.

– Надо бы как-нибудь утром сходить в церковь Святого Роха, – сказала она. – Стоит забросить какое-нибудь привычное занятие, как в душе становится пусто.

Ее бледное личико позднего ребенка, дочери слишком старых родителей, выдавало горькое сожаление о другой, совсем иной жизни, являвшейся ей некогда в мечтах, в стране химер. Она не умела скрывать свои чувства, они тут же отражались на этом лице с нежной, болезненно-прозрачной кожей. Затем, растроганная до глубины души, Мари безбоязненно сжала руки Октава:

– Ах, как я вам благодарна за эту книгу!.. Приходите к нам завтра после обеда. Я верну ее вам и расскажу про свои впечатления... Вас это позабавит, не правда ли?

Выйдя из комнаты, Октав подумал: странная она все-таки! В конце концов она его заинтересовала; ему хотелось поговорить с Пишоном, слегка встряхнуть его и заставить уделять побольше времени жене, ибо эта юная женщина явно нуждалась в том, чтобы ею занялись. Как нарочно, на следующее утро он столкнулся на лестнице с ее мужем, уходившим на работу, и проводил его до конторы, решив, что может опоздать в «Дамское Счастье» на четверть часика. Однако Пишон показался ему еще более пришибленным, чем его жена; все его мысли были заняты коммерческими соображениями, а больше всего он боялся забрызгать грязью башмаки в эту дождливую погоду. Он шагал буквально на цыпочках, бесконечно рассказывая при этом о своем начальнике – помощнике заведующего. Октав, питавший к этой семье чисто братские чувства, в конечном счете расстался с ним на улице Сент-Оноре, посоветовав напоследок чаще водить Мари в театр.

– Это еще зачем? – изумленно спросил Пишон.

– Видите ли, женщинам это полезно. Они становятся более отзывчивыми.

– О, вы так считаете?

Он обещал подумать об этом и перешел улицу, испуганно шарахаясь от фиакров и думая только об одном: как бы его не забрызгало грязью.

Днем Октав постучался к Пишоном, чтобы забрать книгу. Мари читала, поставив локти на стол и запустив пальцы в растрепанные волосы. Она только что поела, даже не постелив скатерть: на столе царил хаос, валялся обеденный прибор, в жестяном блюде стыли остатки омлета. Лилит, забытая матерью, спала на полу, уткнувшись носиком в осколки тарелки, которую, видно, сама и разбила.

– Ну как? – спросил Октав.

Мари ответила не сразу. На ней был утренний пеньюар с оторванными пуговицами, обнажавший шею; она выглядела неряшливой, как женщина, только что вставшая с постели.

– Я едва успела прочитать сто страниц, – сказала она наконец. – Вчера к нам приходили мои родители.

И заговорила сбивчиво, с трудом подыскивая слова. В молодости ей хотелось жить в лесной чаще. Она мечтала встретить охотника, трубящего в рог. Он подойдет к ней, преклонит колени. Все это происходило очень далеко, в лесных дебрях, где цвели розы, прекрасные, как в парке. Потом вдруг оказывалось, что они уже повенчаны и ведут счастливую, праздную жизнь, с утра до вечера прогуливаясь по лесу. Она была счастлива и ничего больше не желала. А он, нежный и покорный, как раб, лежал у ее ног.

– Сегодня утром я побеседовал с вашим мужем, – сказал Октав. – Вы слишком засиделись дома, и я уговаривал его повести вас в театр.

Но она вздрогнула, побледнела и замотала головой. Наступило молчание. Мари снова очутилась в тесной столовой с ее тусклым холодным светом. Образ Жюля, унылого и педантичного, внезапно заслонил собой сказочного охотника из романсов, которые она пела, – охотника, чей рог все еще звучал у нее в ушах. Иногда она даже прислушивалась: а не идет ли



он? Ее муж никогда не сжимал ее ноги, чтобы поцеловать их, никогда не преклонял перед ней колени и не клялся в пламенной любви. Тем не менее она любила Жюля, очень любила, вот только ее удивляло, что любовь эта со временем утратила свою сладость.

– Видите ли, меня поражает одно, – продолжала Мари, возвращаясь к разговору о книге. – В романах есть такие места, где люди признаются друг другу в своих чувствах.

Вот тут Октав наконец присел. Ему хотелось смеяться, такими пустяшными выглядели в его глазах подобные сентиментальные глупости.

– Лично я, – сказал он, – терпеть не могу напыщенные фразы... Когда люди обожают друг друга, самое лучшее – тотчас перейти к делу.

Но Мари как будто не поняла его, ее взгляд был по-прежнему простодушным. Протянув руку, он коснулся ее пальцев, наклонился, чтобы увидеть, какую страницу она читала, и придвинулся так близко, что его дыхание согрело ее обнаженное плечо в распахнутом вороте пеньюара, но она даже не вздрогнула, сидела как каменная. Октав встал, исполненный презрения, к которому примешивалась жалость. Когда он направился к двери, она успела сказать вслед:

– Я читаю медленно – наверно, не закончу до завтра. Вот завтра будет о чем поговорить! Приходите вечером.

Разумеется, Октав не собирался соблазнять Мари, и, однако, это не давало ему покоя. Его влекли к этой молодой паре какие-то странные дружеские чувства, смешанные с раздражением, настолько нелепыми казались ему их представления о жизни. И почему-то хотелось помочь молодым супругам, оказать им услугу даже вопреки их воле. Что, если пригласить их куда-нибудь на ужин, накачать вином допьяна, посмотреть, как они будут виснуть друг у друга на шее, – в общем, развлечься? В другое время Октав никому не подал бы и десяти франков, но в приступе доброты он был готов швыряться деньгами, лишь бы соединить влюбленных, подарить им счастье.

Впрочем, холодный темперамент юной мадам Пишон лишь разжигал интерес Октава к пылкой Валери. Вот уж той наверняка не потребуется растолковывать, чего от нее ждут. И Октав дерзко пытался добиться успеха: однажды, поднимаясь по лестнице следом за ней, он рискнул отпустить комплимент ее ножкам; она и не подумала рассердиться.

И вот наконец ему представился давно желанный удобный случай. Это произошло в тот вечер, когда Мари предлагала ему зайти к ним: ее муж должен был вернуться домой очень поздно, – таким образом, они будут одни и смогут потолковать о романе. Но молодой человек предпочел уйти из дому: его пугала сама мысль об этом литературном пиршестве. Однако к десяти часам вечера, когда он рискнул вернуться, ему встретилась на площадке второго этажа перепуганная служанка Валери, которая бросилась к нему со словами:

– У мадам нервный припадок, хозяина, как на грех, нет дома, а жильцы из квартиры напротив ушли в театр... Умоляю вас, пойдите со мной! Я не знаю, что делать, а больше никого нет!

В спальне Валери недвижно, словно парализованная, полулежала в кресле. Служанка расшнуровала ей корсет, обнажив грудь. Впрочем, приступ почти сразу же прошел. Валери открыла глаза, удивленно воззрилась на Октава и заговорила так, словно перед ней был врач.

– Прошу прощения, – хрипло прошептала она. – Эта девушка служит у нас только со вчерашнего дня, вот она и потеряла голову со страха.

Бесстрастное спокойствие, с которым она сняла корсет и одернула на себе платье, возбудило молодого человека. Он стоял перед ней, даже не смея присесть, но твердо намереваясь остаться, пока не добьется успеха. Валери отослала служанку, раздражавшую ее своим видом, затем подошла к окну и начала жадно вдыхать холодный воздух улицы, широко раскрывая рот и нервно позевывая. После короткого молчания они разговорились. Эти странные припадки начались у нее в возрасте четырнадцати лет; доктору Жюйера давно уже надоело пич-

кать ее лекарствами, когда у нее сводило то плечи, то поясницу. В конечном счете она свылась с этими приступами – уж лучше это, чем что-нибудь похуже; почти никто из окружающих не мог похвастаться идеальным здоровьем. Пока она говорила, устало поникнув, он с возмущением разглядывал эту женщину, находя ее весьма соблазнительной в беспорядочно смятом платье, со свинцово-бледным лицом, осунувшимся после приступа, как после бурной ночи любви. За черной волной ее распустившихся волос, ниспадавших на плечи, казалось, мелькнуло жалкое, безбородое лицо ее мужа. И внезапно он грубым рывком, точно уличную девку, привлек Валери к себе, готовый овладеть ею.

– Вот так так! Это еще что?! – изумленно воскликнула она.

Теперь уже она разглядывала Октава – так холодно, так бесстрастно, что его пробрал озноб, и он медленно, неловко опустил руки, осознав всю смехотворность своего порыва. А Валери, едва скрыв последний нервный зев, медленно добавила:

– Ах, дорогой мой, если бы вы знали!..

И пожала плечами, ничуть не рассерженная, а просто подавленная своим усталым презрением к мужчинам. Октав увидел, что она направилась к шнуру звонка, волоча за собой полурасстегнутые юбки, и уже было испугался, что она сейчас прикажет вышвырнуть его вон. Однако она всего лишь велела служанке принести чаю – некрепкого, но очень горячего. Октав, совсем сбитый с толку, пролепетал какие-то извинения и направился к двери, а она снова улеглась в кресло, с видом усталой, озябшей женщины, мечтающей только об одном – крепко заснуть.

А Октав поднимался по лестнице, в недоумении приостанавливаясь на каждой площадке. Значит, Валери это не нравится? Он ясно ощутил ее безразличие, холодность, лишенную как желания, так и возмущения, такую же непреодолимую, как и у владелицы «Дамского Счастья» госпожи Эдуэн. Но почему же Кампардон считал Валери истеричкой? Неужто архитектор сознательно ввел его в заблуждение своими рассказами? Ведь не будь этих лживых измышлений, Октав никогда не отважился бы на подобную дерзость. Молодой человек, ошеломленный подобной развязкой, никак не мог разобраться в своих представлениях об истерии, припоминая известные ему случаи. Он вспомнил слова Трюбло: с этими ненормальными, у которых глаза горят, как раскаленные уголья, нельзя иметь дела – никогда не знаешь, во что это выльется!

Поднявшись на свой этаж, Октав, рассерженный на женщин, пошел по коридору на цыпочках, стараясь ступать потише. Но дверь Пишонов вдруг распахнулась, и ему пришлось смириться с неизбежным: Мари поджидала его, стоя в узкой комнате, едва освещенной карбидной лампой. К столу была придвинута колыбель, где Лилит спала в круге желтого света. Обеденный прибор, видимо, послужил Мари и для ужина; рядом с грязной тарелкой, на которой валялись хвостики редиски, лежала закрытая книга.

– Ну как, дочитали? – спросил Октав, удивленный молчанием молодой женщины.

Лицо Мари выглядело слегка одутловатым, как обычно бывает после слишком тяжелого, похмельного сна.

– Да... да, – выдавила она. – О, я провела за чтением целый день; читала, читала, заткнув уши, забыв обо всем на свете... Когда история так увлекает, уже не понимаешь, где ты и что ты... У меня теперь даже шея болит.

Больше Мари ничего не сказала о романе; она устала, ее так переполняли эмоции и будоражили смутные мечты, разбуженные этим чтением, что она задыхалась. В ушах стоял гул, звучали отдаленные призывы рога, в который трубил охотник – герой ее романсов в голубых далах идеальной любви. Потом, без всякой связи с предыдущим, она рассказала, что ходила в церковь Святого Роха к девятичасовой мессе. И там плакала не переставая – религия вытеснила все переживания.

– Ах, теперь мне полегчало, – промолвила она с глубоким вздохом, стоя перед Октавом.

Наступило молчание. Мари улыбалась, глядя на Октава чистыми, невинными глазами. А ему эта женщина, с ее жиденькими волосами и размытыми чертами лица, никогда еще не казалась такой жалкой. Но она упорно не спускала с него глаз и вдруг смертельно побледнела, пошатнулась, и он едва успел подхватить ее, чтобы не дать упасть.

– Боже мой! Боже мой! – бормотала она сквозь рыдания.

Смущенный Октав все еще держал ее в объятиях.

– Вам сейчас не вредно было бы выпить липового отвара, – сказал он. – Вы просто слишком долго читали.

– Ох, у меня прямо сердце сжалось, когда я закрыла книгу и поняла, что безнадежно одинока... Как вы добры ко мне, господин Муре! Если бы не вы, не знаю, что бы я сделала!

Тем временем Октав оглядывал комнату, ища, куда бы ее посадить.

– Хотите, я разожгу огонь в камине?

– Благодарю вас, не стоит, вы измажетесь... Я давно заметила, что вы всегда носите перчатки.

При этих словах она снова задохнулась и, внезапно ослабев, сделала неловкую попытку поцеловать его, словно ей подсказала это мечта; поцелуй пришелся в краешек уха молодого человека.

Почувствовав его, Октав испуганно вздрогнул: губы Мари были холодны как лед. Но миг спустя, когда она безоглядно приникла к нему всем телом, в нем внезапно вспыхнуло желание, и он попытался увлечь ее в глубину комнаты. Однако резкий напор привел Мари в чувство; инстинкт женщины, оказавшейся в руках насильника, заставил ее отбиваться, и она стала звать на помощь мать, забыв о муже, который должен был сейчас прийти, и о дочке, спавшей тут же, рядом.

– Нет, о нет, только не это... Это невозможно!

А он, воспламенившись, твердил:

– Никто не узнает, я никому не скажу ни слова!

– Нет-нет, господин Октав... Не нужно омрачать счастье нашей встречи... Вам это ни к чему, уверяю вас, а я... я так размечталась...

И Октав замолчал; ему не терпелось одержать победу хотя бы над этой женщиной, и он грубо твердил про себя: «Ну нет, уж ты от меня не уйдешь!» Поскольку Мари не позволила ему увлечь ее в спальню, он грубо опрокинул ее на стол; она безвольно подчинилась, и он овладел ею между забытой тарелкой и романом, который от толчков свалился на пол. Дверь квартиры даже не была закрыта, и в тишину комнаты проникало торжественное безмолвие лестницы. А Лилит безмятежно спала в своей колыбельке.

Когда Мари и Октав поднялись, путаясь в ее юбках, они даже не нашли что сказать друг другу. Она машинально заглянула в колыбель, посмотрела на дочь, потом взяла было тарелку, но тут же поставила ее обратно. А он стоял молча, так же охваченный смущением, настолько неожиданным был для него этот порыв, и вспоминал, как чисто по-братски собирался заставить эту женщину броситься на шею мужу. Потом наконец, желая прервать это затянувшееся, невыносимое молчание, прошептал:

– Вы даже не закрыли дверь?

Мари бросила взгляд на лестничную площадку и пролепетала:

– Да, и правда... она была открыта...

Она с трудом двигалась, на ее лице застыла гримаса отвращения. И молодой человек, глядя на нее, думал: «Какая глупая, жалкая победа – над этой беззащитной бедняжкой, в ее убожестве и одиночестве! Она даже не испытала наслаждения».

– Ой, и книжка упала на пол! – промолвила она, поднимая роман.

Как на беду, при падении уголок обложки надломился. Это их сблизило, принесло облегчение. Они снова заговорили. Мари пришла в отчаяние:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.